ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ РОССИИ



не поклонившись
не выпрямишься



ВИДИМОЙ



КРАЙ ИСТОРИИ

Устный рассказ

Валентиновка
Памятники исторической мысли
2025

ББК63.3(2)44
В42

Художник
Александр Григорьевич СТРОЙЛО

В42 Край видимой истории.
Устный рассказ.
Валентиновка:
Памятники
исторической мысли,
2023. – 188 с.

МСКН 978-5-88451-377-8

Научное издание
Утверждено к печати Учёным советом издательства
·Памятники исторической мысли·
Игорь Николаевич Кузнецов
Край видимой истории. Устный рассказ
Издательство ·Памятники исторической мысли· Валентиновка, ул. Надежды К. 10/1
Подписано в печать 29.05.23. Ф-т 60×90 1/8. 23,5 п. л. Тир. 48 экз. Печать пороховая.
Типография «Канцлер». Ярославль, Полушкина Роща, 16, усадьба 66а

Конечно, увидеть всю историю XVII века нельзя. Так же нельзя её всю написать, прочитать, сочинить, исследовать, изучить. Можно (и нужно) анализировать архивные документы, сопоставлять, ставить в систему воззрений и прочее. Трудно сказать, кто точнее понимал историю Отечественной войны 1812 года – Е.В. Тарле в середине XX века, или Л.Н. Толстой в начале. Логика научного и художественного исследования равноправны, только одно доказывает, а второе убеждает. Начать можно с нижнего края, с XVI века, где всё ещё видно глазу.

Для правильного понимания истории XVII века надо её просто начать не с петровского 1601 года, а с послегрозненского 1589 года. Патриаршество так же пронизывает историю того века, как коммунизм пронизывает историю XX-го. Причём понять это можно, только если глядеть открытыми глазами на мотивационную сторону истории, о которой вообще ничего не известно и ещё менее доказательно формулируемо. Зачем появилось патриаршество при Фёдоре Иоанновиче, а точнее, при Борисе Годунове? Что такое Святая Святых, строительные материалы для которой были завезены на Ивановскую площадь при Борисе? Как бывший крестьянин набрался наглости задумать Новый Иерусалим, не была ли Святая Святых в памяти? Как Большой собор, главный нерв истории XVII века, умудрился не попасть в учебники и энциклопедии, даже в монографии? Один ответ – не посмели, и нынешние авторы тоже, думать – страшно в буквальном смысле слова.

«Письма и бумаги Петра» после А.А. Преображенского публикуются с великим трудом, за проект издания материалов Большого собора, по важности не уступающий Стоглаву ни полкопеечки (проект, превосходящий даже первостатейную публикацию Соборного уложения), просто некому взяться: требуется триста человеколет, наполненных отчаянными специалистами-публикаторами редкой породы.

А Великая перечеканка?

Другое время, другая страна, другое содержание событий. Но есть что-то роднящее – торжество здравого смысла над всеми остальными побудительными причинами управляющих действий кого бы то ни было.

Задача этой книжечки – не доказать и не убедить, а показать обрывки общей картины, разорванные кусочки фотографии, которые удалось подобрать и рассмотреть. Научности мало, потому что всё субъективно и бездоказательно, художественности ещё меньше, потому что после литературы XIX–XX веков надеяться на сочинение чего-то художественного – безрассудство. Всё равно что приобнять за плечо в Ела-



буге Марину Цветаеву у калитки и спросить: «Ну что, брат Пушкин, как дела-то?». Или Исайю Берлина попросить передать привет Анне Ахматовой, при случае, разумеется. Всё нижеследующее – итог незрелых беглых мыслей, поскольку бог не дал ещё и изобразительных способностей, то даже croquis начертать не удастся, придётся ограничиться подписями над случайно выхваченными, бессистемными картинками, которые просто интересно разглядывать безотносительно к тому, что кто-то о них думает. Они расставлены немножко по порядку во времени, да и то не всегда, и говорят сами за себя лучше, чем умные анализаторы.

Но и некоторая цель тоже преследуется, явно и неявно. Croquis изображаются не карандашом, а фотоаппаратом, щёлканье затвора которого можно откомментировать, словно это он виноват, а не мы увидели нечто поучительное. Уроки – потому что даже такая унылая пошлость, как «она учит лишь тому, что ничему не учит», к XVII веку неприменима. Весь век не научен и этой малости, он целиком и без остатка ушёл на подготовку, обоснование, предвосхищение и расчистку площадей для реформ Петра I и больше ни на что не годен, будучи инвалид по причине кромешного мракобесия и нарочного отставания из-за великой неспособности сотворить ничего путного из столь кривой тесины, как человек, которого только нужда может выгнать на подвиг, и тогда уж он дремать никому не даст. И во многих головах эта крикливая глупость застряла так крепко, что не позволяет заметить: отсталость России – камень, от неприятной поверхности которого отталкивается сначала просвещённый «автодидакт» (попросту говоря, неуч) Пётр, потом целый век «безумно мудрого» движения к попытке Сперанского, далее встрепенувшийся Герцен то с гор, то из тумана будит всех остальных и Достоевского, а уж тот обнаруживает тех бесов, что полтора века ищут «особый путь» обязательно в болотах. Рельсы в головах, проложенные на уроках истории и лите-

Портал северного выхода из Успенского собора московского кремля (XVI век)

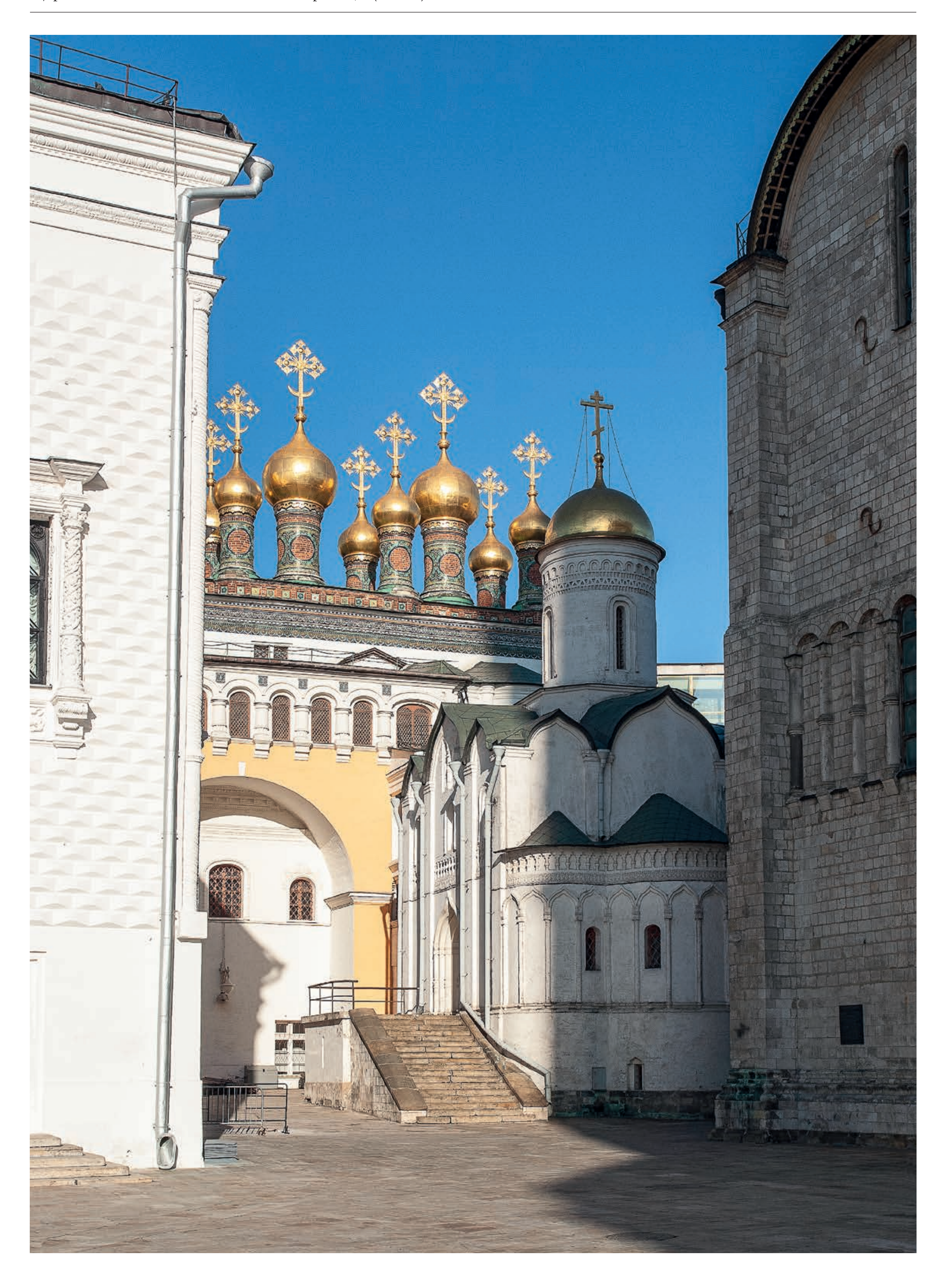


ратуры, на лекциях и семинарах блистательных преподавателей и профессоров, колеи, самостоятельно, собственными руками в своих же мозгах выштробленные в библиотеках и архивах, нельзя проложить заново, как нельзя вернуться во младенческие лета. Эти рельсы и колеи можно только продолжать и углублять, а вскоре убедиться в том, что горизонт перестал удаляться, в него упёрлись лбом, а он стоит, бесконечная прямая загнулась в кольцо, звукосниматель пилит пластинку по кругу в одном месте, копеечная мыслишка с песчинку размером сбивается на бесконечные повторы, а колючки колются, а есть хочется, а слёзы льются, а толку нет.

Всё, что сходит с тропы, которую помнят не глаза, а ноги, пугает так же, как лежащий на боку поезд, руки сами вслепую нащупывают что-нибудь твёрдое и несомненное, наверняка, неколебимо заякоренное, точку опоры – а уж рычаги мы потом сами настрогаем, сначала надо опереться и упереться.

Время от времени приходится оглядываться – за что бы зацепиться взглядом, потом присмотреться, потом разглядеть, даже вглядеться, наконец, увидеть, и ахнуть: «Так вот же!» Серебряковская юница с расчёской над косой глаз-то имеет такой же, как Юта у Эккехарда, а это не просто Наумбург, это тысячный год от РХ. У нас двуногие крокодилы Старую Рязань жгут, а в Амьене размышляют, какой бы собор построить за 68 лет во второй половине XIII столетия, чтобы с ним 700 лет соревновались и победы бы не было ни у кого, ни у новых, ни у старых.

Рельсы тонут в колеях, когда глаза аж щиплет от того, что они замылились, надо промыть их и продрать, увидеть ещё раз, заново: мир тот же, а выглядит иначе, меняется его понимание. Вот это новое надо успеть схватить, поймать, не забыть, как





звукоряд во сне. Ночью он виден воочию, цветной, отчётливый, приятный наощупь, аж звенит, но если не вскочил, не записал тотчас, – утром на полу только бесцветные обрывки, восстановить нельзя, хоть волосы рви и плачь от огорчения, что оказался таким сонным ленивым глупцом – за бриллиантом не нагнулся.

Крики про кроки останутся пустозвонством, если в грязи не алмаз, а самый обычный сверкач, просто каменюка. Хотя и тогда потуги небессмысленны. Собрание камней небезынтересно хотя бы для собирателей камней, их можно отмыть, разложить и систематизировать по каким-нибудь признакам, даже просто по цвету. Мыслишка простенькая, но надёжная, не своротишь.

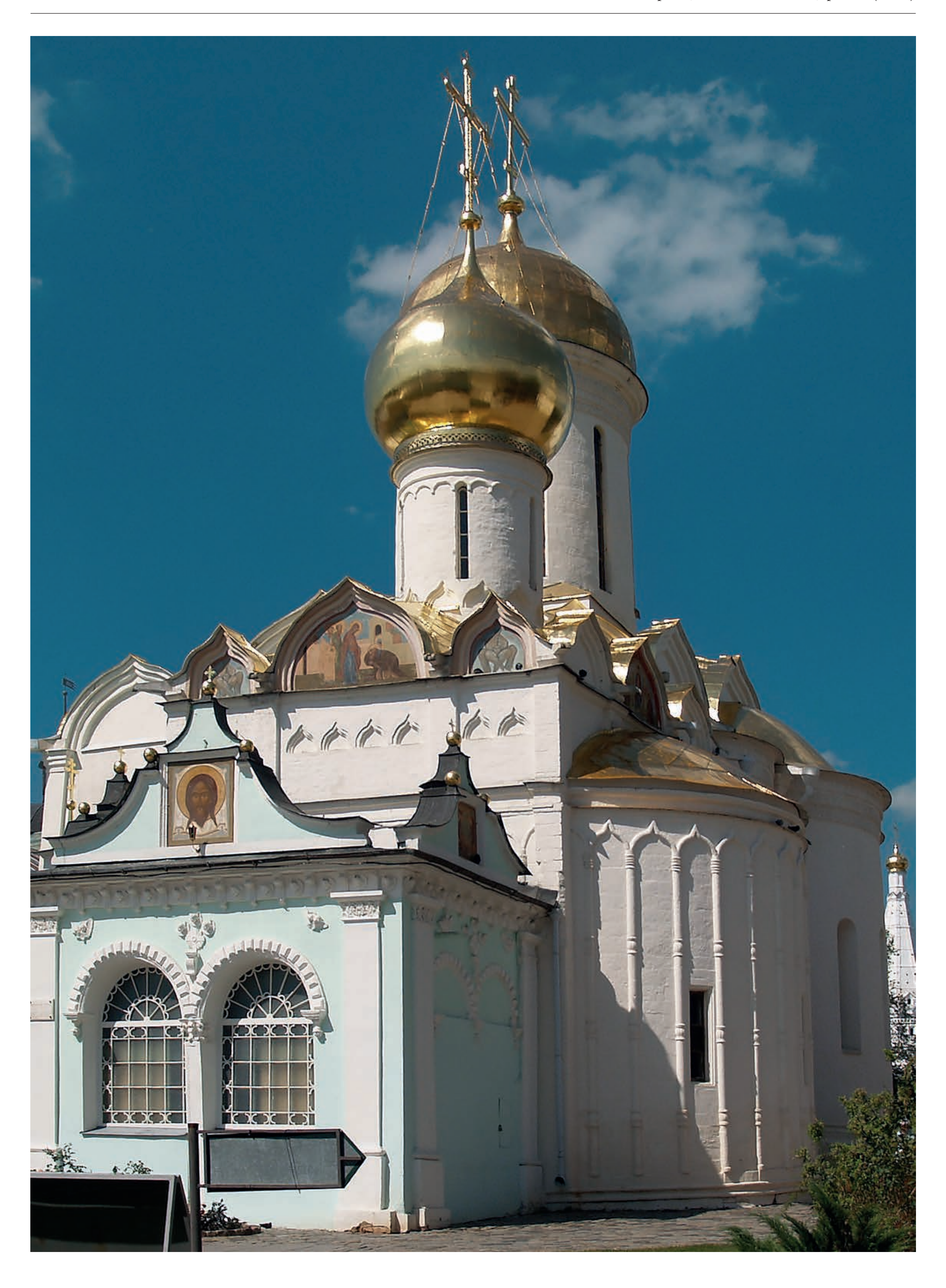
Вместо постулатов, на которые опирается логика изложения, используем сооружения, появившиеся примерно в те годы, о которых пойдёт речь. Царёв Борисов городок, к примеру, почти ничего по себе не оставил, но и то, что осталось, очень малоизвестно, как Преображенская церковь в Острове, хотя слава её должна бы затмевать и знаменитость Вознесенской в Коломенском, и открыточную символичность Покровской на Рву. Одинаково верны противоположные утверждения: «она не известна никому» и «все про неё знают». Все знают про церковь в Больших Вязёмах и её связи с А.С. Пушкиным. И никто (кроме специалистов) не знает, что это памятник годуновского времени. Чтобы известность соответствовала их значению, надобно ставить их в систему, в свой ряд, а для этого надо выстроить ряд, отличный от описанного, от второй царицы «ума малого» до очередного генерального секретаря «ума ничтожного».

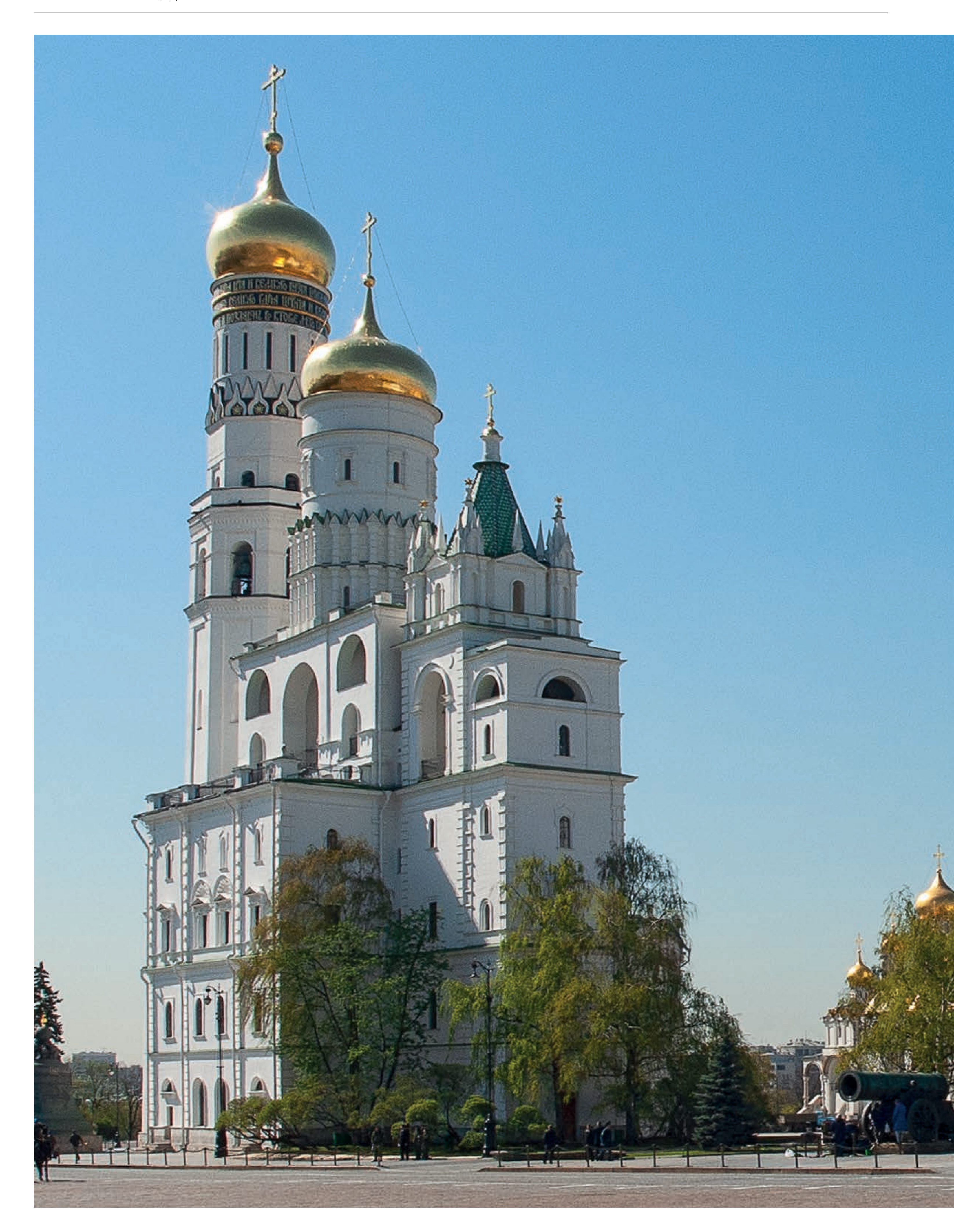
Крохотны эти croquis потому, что силы невелики и к трёмстам годам русской историографии даже самую малую капельку прибавить – целеполагание скорее нахальное, чем имеющее шансы на успех. Золотник, унция и гран – недостаточно малые величины, чтобы разглядеть атомический вес автора рядом с многосоттонными скалами Шахматова, Устюгова, Зимина или Демидовой (число фамилий каждый может умножить на сто не один раз).

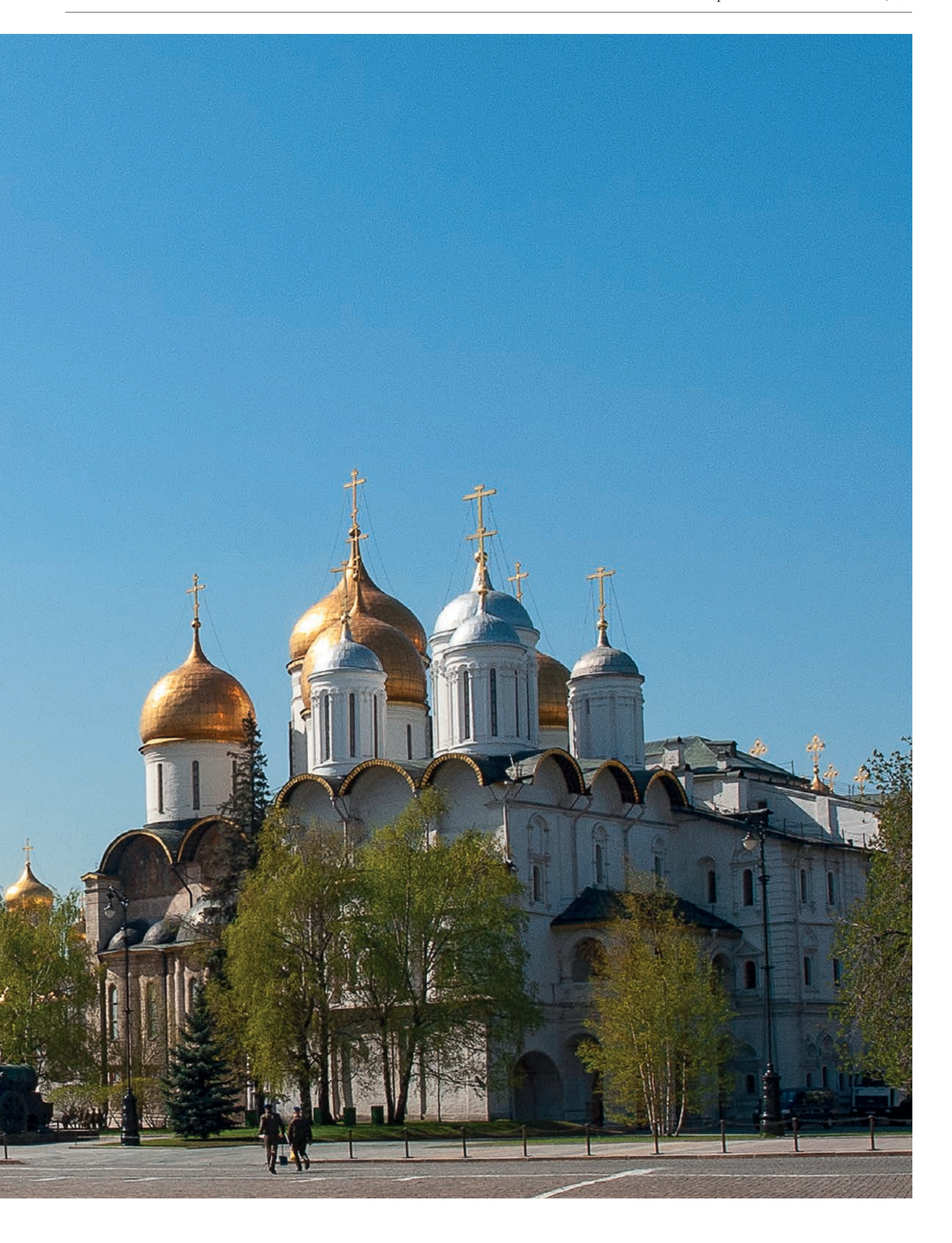
Кроки – и есть соединение уроков и крох. Они меньше, чем очерки и хуже, чем наброски, из них нельзя нарисовать картину, но можно использовать, чтобы с подобающей ловкостью и безрассудством напасть на вопрос, задать который осмеливается редкий историк: «Как же оно было на самом деле?» Кроки хороши краткостью взгляда. От фиксирующего ума до фиксируемого объекта малое расстояние, нет места и времени для придумок и фантазий, то есть для сознательного или непроизвольного (для красоты, например) вранья.

Чтобы автора совсем уж легко было проверить, расскажем, как строился тот ряд, та «система», в которой бесы Ф.М. Достоевского не совсем уж обязательно должны были зажарить ангелов Н.С. Лескова. Это не «альтернативная история», упаси бог. Это попытка иначе понять то, что давно и твёрдо известно, иначе объяснить, иначе связать и выстроить события, потому что некоторые «локти» обязательно больно вылезают из привычного течения событий, и существующие объяснения ничего не объясняют не только потому, что ученик ленив и нерадив, а потому что объяснение небезупречное; то, что не входит в систему, надо зачеркивать, чтобы не объяснять, просто и убедительно игнорировать, словно его и нет. Поэтому, например, не известна Флорищева пустынь: она, как скала над рябью моря, как гигант над мелюзгой, возвышается над определением стиля XVII века как некоего «узорочья», потому что стиль XVII века там есть, а узоров нет вовсе, да и «барочьем» любого извода даже не пахнет. Поскольку всё сложно и необычно, оторвёмся на минуточку от темы, чтобы привести сторонний пример.

Это не запальчивость новоинтерпретатора, а опыт, приобретённый при переводе последней строфы первой части «Фауста» И.В. фон Гёте. Оказывается, несчастный, обессиленный Б.Л. Пастернак не имел возможности понять уже первую строку Мистического хора. ‘Gleichnis’ здесь не может быть ни символом, ни сравнением, ни уравнением. Это призрак, марево, зыбкость, кажимость, мираж. И ‘Alles Vergängliche’ понять как ‘Все преходящее’ можно только с наскока, впопыхах. Дело не в том, что «оно» шагает, идёт, перемещается и вот-вот уже пройдёт, закончится (семантика приставки ‘пре_’), а в том, что идёт мимо, не затрагивая никого, не касаясь. «Оно» всё – не преходящее, а мимолётное, сегодняшнее, наносное и пустяшное, мелкое, недостойное внимания, оно лишь мерещится как нечто важное, вглядываться надо дальше и глубже, туда, где горизонт гнётся, где видно дно бездны, мечтать и загадывать немыслимое, неосуществимое, как никто не осмеливался, «на том стою», «ich kann nicht anders», только тогда получится что-то стоящее, путное. Все переводчики, начиная с М.Ю. Лермонтова, ни за что, ни при каких обстоятельствах, кроме недомогания, не передали бы последние две строки как «Вечная женственность, Тянет нас к ней». Это даже не подстрочник, а весёлый машинный перевод в те времена, когда про компьютеры слыхом не слыхивали. В переводе появляется серо-голубой, даже синюшный либидозный оттенок, намёки на который непозволительны не потому, что И.В. фон Гёте чужд фривольности, а потому, что его (оттенка) нет у автора. Das Weibliche, weibliches Geschlecht, genauso wie das Weib – все они не только фонетически близки к прилагательному *weich* (мягкий), которое появилось не для пропаганды деторождения и семейных ценностей, а для тех же целей, для которых в Наумбурге около 1000 года поставлены рядом











граф Эккехард и его супруга Ута. Она действительно Zieht uns hinan, но в том же смысле, что «чёрно-белые запятые в круге» значат для китайцев. Её нежность расцветает только на фоне его брутальности, и его мужественность становится возможна лишь благодаря её женственности, сколько бы крови он ни пролил своим мечом. Предыдущие строки у И.В. фон Гёте словно высечены двуручным пером, громко, одним ударом, победительно, попирая одной ногой поверженную скалу, а последние две строки как будто протягивают руку той, для которой скала и была обращена в прах, и были совершены все подвиги, и только тогда появляется смысл и сечь мечом, и размахивать пером.

Ничего этого нет в переводе.

Но разве это отнимает хотя бы молекулу у того памятника, который возвёл себе Б.Л. Пастернак? Никак нет, ни одного протона. Просто у него не было ни досуга, ни праздности. Построить памятник и отшлифовать фрагмент ногтя на мизинце у памятника – не одно и то же.

Длинное филологическое отступление понадобилось для того, чтобы распространить возможность шлифовать ногти памятников и на историографию. Никакого посягновения на авторитеты в нижеследующем нет, есть лишь предложение нового способа доказательства теоремы, решения которой уже есть в учебниках по разным предметам.

Теперь о способе написания комментария. Он вырос из понимания, что марксистско-ленинское представление об истории может быть не единственным, и что взаимодействие производственных отношений, производительных сил и надстройки под влиянием борьбы образует в совокупности такую комбинацию, разобраться в которой под силу только остепенившимся специалистам по истмату; а лишённые научно-коммунистического воспитания люди, признавая необходимость следовать правилам игры, давно привыкли процеживать планктон сквозь зубы и усы, просто пропуская нужные (то есть наоборот, ненужные) куски про формации и неустанное закрепощение на фоне усиливающейся борьбы, доходя относительно быстро до сути. Но этот навык оказывается недостаточным даже для выдающихся авторов.

Дело в том, что умные люди, к сожалению, попадаются везде. И их начальственное проникновение в теоретические структуры истории не всегда купируется профессионализмом настоящих историков, сознающих, что им навязано, а до чего они добрались самостоятельно. Страшно вымолвить: даже в послевоенных «Очерках

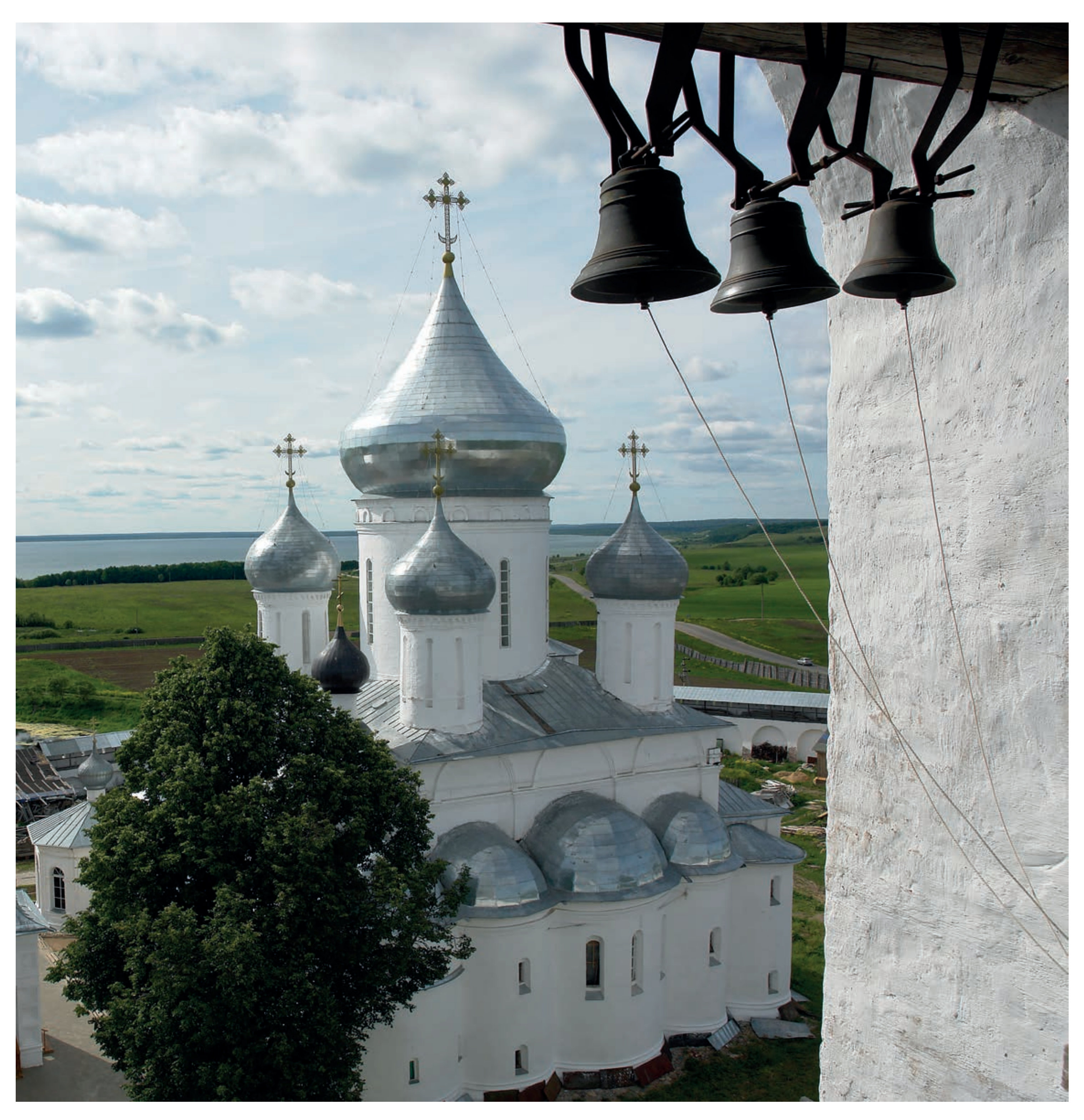


истории СССР» структурирование стволов и ветвей изложения по томам оказалось в прокрустовой кроватке истмата, в которой на сто лет отрубили напрочь ноги, а не то и вовсе всю голову у патриаршества, остаточный биоматериал оказался в разделах по культуре, про танцы, одежду и народные промыслы. То есть главный нерв истории XVII века хирургически удалили, дырку зацементировали, болевые ощущения и их описание оставили искусствоведам, архитекторам и Центру И.Э. Грабаря. То, что досадные мелочи (вроде староверов) сохраняются веками, можно милостиво игнорировать, покровительственно похлопывая по плечу «Ну-ну, что ж, неплохо, неплохо». Без эксгумации темы патриаршества (bzw старообрядчества) затруднительно понять историю XVII века. Мысленно переставим патриаршество с последнего места на первое. Вот и вся новизна описываемого подхода.

Французское слово croquis использовано только затем, чтобы оттенить слова (ненаписанные в названии) «русской истории», именно русской, а не российской. Эта неумная мода, якобы интегрирующая все нерусские этнические составные части



в большой компендий российскости, на деле разобщает их, подчеркивая дробность, особость, а не общность. Кроме того, изобретение по сути своей оскорбительно. Если попробовать сказать немцу, что он Deutschländer, то есть житель страны тевтонов, он будет и изумлён, и обескуражен, и, пожалуй, обидится – нет, он просто тевтонец, ein richtiger Deutsche. Для французов или англичан образовать языковую кальку ещё мудрёнее. Поэтому история России не синонимична и российской истории, и русской истории, они все три требуют полноты и безупречности в учёте своих особенностей и аспектов, а ниже речь не об универсальности, а о чертах русской истории, бросившихся в глаза, приблизительно нанесённых на бумагу, чтобы только передать то, что показалось важным, приметным, характерным – и рядом можно положить гору книг, увидевших русскую историю XVII века иначе, и ничуть не менее правильно. Слова 'набросок', 'эскиз', 'очерк', 'Skizze' содержат, включают в себя понятие 'эссе', там должна чувствоваться рука, желательно даже – рука мастера, а croquis – как выстрел глаза, куда попал, туда уж и попал.

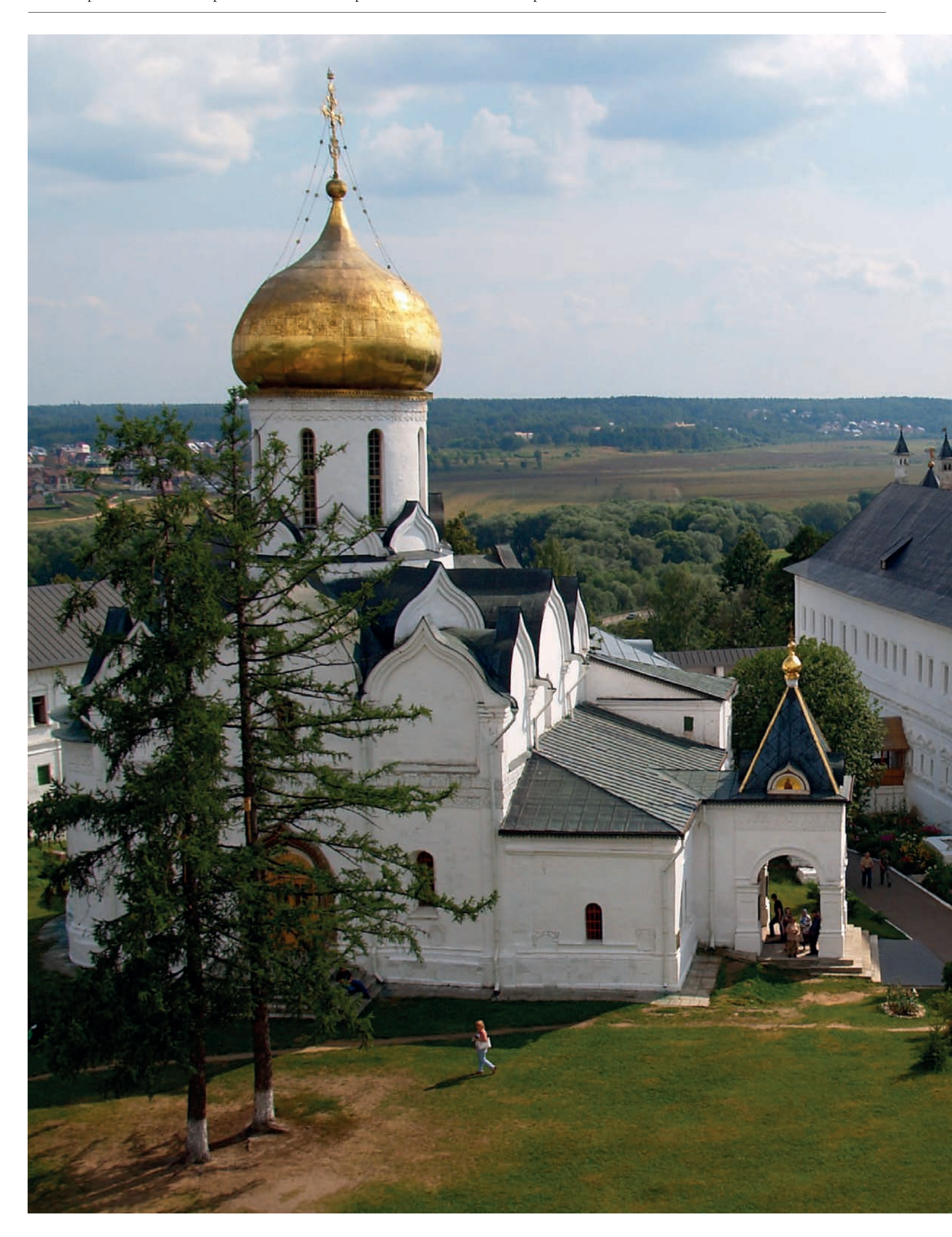


Такой разгильдяйский подход для подтверждения предположений позволяет вместо ссылок на источники и литературу прибегнуть к самому тяжеловесному аргументу, каменному. Облик сооружений, конечно, не позволяет ничего сказать о времени, людях, событиях и связях, но он создаёт пространственную рамку, вернее, её обрывок, способный самостоятельно задавать вопросы. Почему столько веков не оплывают высокие валы дмитровского кремля? Для чего под северными башнями ростовского кремля в «г»-образном проходе слева от ворот сделаны герсы – оборонительная ненужность была очевидна уже много десятилетий. Почему скобы на шатре колокольни Флорищевой пустыни за три с половиной века не заржавели и не повысыпались? Архитектура – это архив с документами, хранящимися под открытым небом, без охраны, каталогов и разрешений посмотреть хоть краешком глаза недолго, чтобы не испортить прикосновением.

Переславль-Залесский. Старый Никитский собор на фоне нового (1564))



Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Рождественский собор.



Есть и ещё одна особенность изложения, о которой стоит предупредить. Устная речь отличается от письменной. В письменной речи автора можно и нужно в любой момент схватить за рукав и привлечь к ответственности: «А вот тут вы, батенька, соврали, я-то лучше знаю, а на чём основано вот это? А то? Ну так сломайте, голубчик, своё гусиное перо и больше не трогайте пернатых». В устной же речи логика и суть менее существенны, у многих ораторов почти всегда есть цель – коммуникативная победа, причём любым способом и инструментом, хоть кувалдой, убеждающий собеседник должен быстро (а не хорошо) соображать и красиво браниться. Но когда победа не нужна, в устной речи появляются преимущества: можно не торопиться, спокойно разобраться, восьмой раз переспросить, потому что не верится, вернуться в пятый раз к тому, что уже было много раз сказано, оно и в шестой раз нравится так, что хочется снова и снова обратить внимание на то, в чём нет ничего нового, кроме самого взгляда, попристальнее, не бегом, чтобы наконец, с седьмого раза, отпрянуть, развести руками, чтобы хлопнуть себя ладошками по бокам и ахнуть: «Да как же я этого не видел, вот же!».

Получилось или нет – не нам судить, но цель «одержать верх» не ставилась, наоборот, хотелось просто поговорить, не выглядя пустобрёхом. Поэтому в данном случае на письменный текст надо бы смотреть как на устный, проговаривая его не торопясь, про себя, но как бы вслух, с интонированием в стиле М. Жванецкого, с паузами на время «умного взгляда» поверх очков в ожидании понимающих покачиваний головы и улыбок в зале. То есть сделать переворот, отличный от обычного: не тараторить слова, нанизывая их на темп речи в целях скорочтения и делая вид, что их понимаешь, даже когда и в самом деле понимаешь, а наоборот, сначала понять, а потом уж сообщить о них (как бы про себя), позаботившись о приличной форме, как бы «барочно», величественно, но не мечтая об изяществе; да, можно подбоченясь, и перо в шляпе не помешает, и трость, и солидный вид, и «благородное обхождение» (“Честь имею рекомендовать себя”), – все же понимают, что это только «для соблюдения приличий» – никто не сдаёт экзамен и не защищает диссертацию, речь о более важных вещах, «с глазу на глаз», но всерьёз; и ни в коем случае не крутить пуговицу собеседника, не трясти воздетыми к небесам руками и не размахивать ими по-итальянски – бельканто этого не допускает, независимо от того, есть голос, или нет. Лучше негромко и не так красиво, но с пониманием. Когда словам возвращается их понимание – приключается большая и неожиданная польза. Просто понимание. Иногда просто обратный перевод на русский возвращает бумеранг понимания как раз туда, куда надо – по лбу.

В начале 90-х годов XX века хорошим людям удалось начать прекрасное дело, рухнувшее только от плохого названия, на важность которого никто тогда не обратил внимания. Российского фонда фундаментальных исследований больше нет только потому, что в названии два однокоренных слова – «фонд фундаментальных». Если вещь не удаётся правильно назвать, значит, неясна её суть, она обречена. «Страны народной демократии» – привычный идиотизм, сгинувший с лица земли, потому что это «страны народного народовластия»; видимо, подразумевалось существование некоего «ненародного народовластия», в отличие от народного. Нагромождения чуши одной на другую, длящееся веками и тысячетелиями, портят мозг. Квадратное надо назвать синим и мокрым, чтобы сознание вздыбилось и сделало «reboot»: власть и народ всегда разорваны, всегда противоположны, всегда враждебны, не могут быть едины, поэтому народ не может быть источником власти, народовластие невозможно как термин, как тепломороз, как мокросушь, как короволк или головопятка. Но ведь несколько тысяч лет длятся разговоры об античной демократии, реформах Солона, трибунах и сенатах, изучаются пентакосиомедимны и тираны, традиции и новации, и все внемлют, вникают и млеют, не смея загнуть извилину, куда следует! Признать за древними право на не-

погрешимый ум легче, чем уговорить себя сложить два и два, смирившись с тем, что дураков хватает везде, чаще в разных пропорциях, но извести их племя не удаётся много тысяч лет, и вряд ли удастся. Меняются только ухватки тех, кто придумывает слова вроде «водогонь». «Общественное обеспечение» становится подачкой, милостынею, оброненной для нищего на паперти; как только расшифруешь «собес», так сразу размер «общественного обеспечения» пенсии становится понятен. Только противоестественный ум мог придумать словосочетание «искусственный интеллект», чтобы пугать им тех, у кого своего не хватает. Как Архимед (не то Пифагор?) в Сиракузах (или в Фивах?) начал, так до сих пор и пугают.

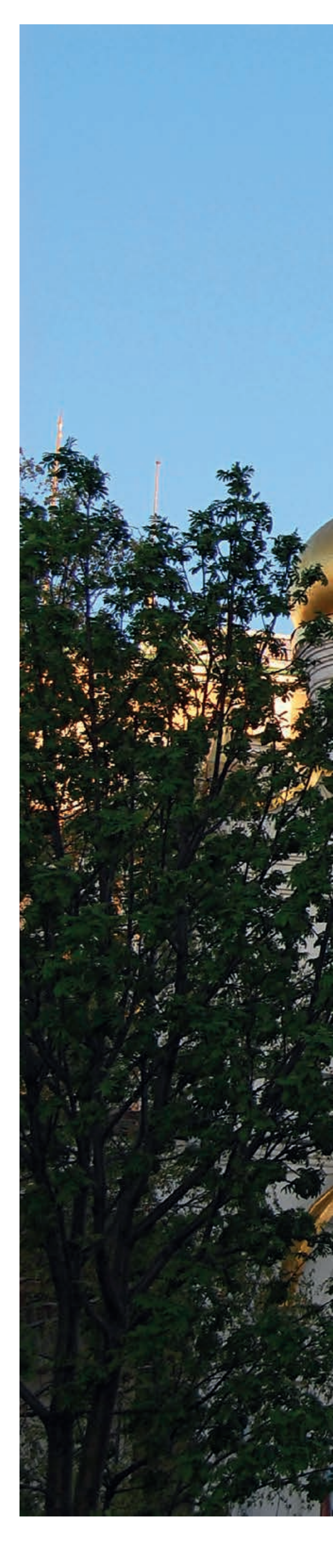
Французам понадобилось две сотни лет, чтобы как-то уложить французскую революцию в своём прошлом, но самое умное, что историки могут сказать о ней – это то, что они твёрдо знают, что она была. Какой она была – вопрос, выходящий за рамки приличий, всё равно что в аудитории спросить, какого , собственно, цвета нижнее бельё у жены докладчика за трибуной. Оно… есть. И всё.

Ещё большее смятение в умах вызывал и вызывает вопрос о связи революции и Просвещения. Он и вправду довольно глупый. Лев Толстой и Фёдор Достоевский готовили русскую революцию? А зачем тогда приставать к Дидро и Гельвецию или Вольтеру? Так же чисты и их помыслы, и их руки ничем не испачканы. Но тогда про что же писал Гёте в «Фаусте», и нет ли зеркального отражения у той силы, «что без числа творит добро, всему желая зла»? Не благообразны ли черты привидения, отразившегося в зеркале и вознамерившегося утвердить силой знания много добра в несовершенном мире? Этот призрак уже поставил твёрдую ногу на ту самую дорогу, вымощенную благими намерениями, ведущую туда же, куда и всегда.

Бастилию по камешку разнесли не те люди, которые обчитались «Кандидом» или «Духом законов», а без Энциклопедии и шагу ступить не решались. Их (читателей) считали не тысячами, а сотнями, и при случае вешали «à la lanterne» первыми, из-за тех самых кюлотов, без которых были те, что вешали.

Просветителям тоже было «не дано предугадать», как отзовётся их слово, это вообще задача непосильная. Если на знамёнах большевиков в конце концов оказались серп и молот, то это вовсе не значит, что жнецы и молотобойцы устроили октябрьский переворот. Значки эти использовали те, кого судьба вынесла во власть, а символы случайны так же, как фасции, птицы и кресты из топоров по часовой, или марсовы пятиконечники.

Главное – власть, а уж какие символы выбрать и использовать, и как использовать – дело вкуса. Лозунги про «свободу, равенство и братство» могут вырасти из чего угодно и привести к чему угодно. Если второе пришло после первого, то это вовсе не значит, что первое было причиной второго – просто они стоят в ряду после нуля именно так, перед третьим. И всё. Но чтобы было третье, должно пройти и первое, и второе, они все соприкасаются. Требует ли это доказательств? Пожалуй, нет. Точно так же не требует доказательств и следующее.





Не вследствие, но после эпохи Просвещения появилась парламентская демократия как политические институты, (не связанные с ренессансом античной или более поздней традиции, а) рождённые нововремённой просвещенческой мыслью способы организации владычества одних групп людей над другими с использованием словесной эквилибристики про свободу, равенство, братство, права людей на собственность, жизнь, работу и прочую чепуху, про ценности того, у чего цены нет, потому что никто не покупает, хотя оно продаётся, про выборы и возможность отчуждения и даже делегирования полномочий, про представительство и прочие абсурдные глупости, которые становятся очевидными, как только к ним приглядишься хоть чуточку повнимательнее. Как один человек может представлять интересы тридцати, к примеру, тысяч? Он что про них знает? Про то, что кому-то интересно купить мотоцикл или одеяло. Ещё каждый день кто-то интересуется поесть, несколько раз. Не хочет, не может, не должен, не будет и не станет никакой парламентарий нигде и никогда защищать или представлять ни один из чьих-то интересов или нужд. Это – бред, болезненное наваждение, умопомрачение, морок, навеянный колдовством, добровольное членовредительство без видимой и невидимой выгоды. С какой стати?

Отступим ещё раз, чтобы перевести дух.

Году примерно в 1985 или шестом в Иностранке (библиотека напротив высотки на Котельнической) заказал довоенную книгу Ролана Мортье про Дидро в Германии. Автор очень приличный, тема подходит, книга в мягкой обложке. Принесли, поднялся по винтовой на балкон, глядь – а она неразрезанная. С середины тридцатых годов примерно никому не понадобилась. Листы отпечатаны, сфальцованы, подобраны, сшиты, блок вставлен в обложку и приклеен, а резать французы не стали в типографии, то ли машины не было, то ли ножи затупились, то ли марзаны старые. Подивился, но рвать не стал, так, куда смог, заглянул, полистал тетрадями, подглядел внутрь сфальцованных некоторых листов, на всякий случай выписал годную цитату, чтобы при случае вставить в свой текст, тем самым украсив его и придав немыслимую научность. Грех портить такую памятную вещь, оставил листы нетронутыми спустя полвека после шитва. Скоро уже век, а она, скорее всего, так и лежит, приводя на ум будущему читателю японскую брошюровку, пушкинские времена, письменный прибор из дерева благородных сортов, деревянный нож для разрезания страниц и запах старой бумаги, ещё не знавшей хлорного отбеливания.

Выписанная цитата врезалась в память не потому что была хорошая память, а оттого что во время изучения языка многие вещи полезно по-обезьяньи заучивать, даже не понимая, в надежде, что это случится после пополнения словарного запаса. Пригодилось существенно позже: «…à l'égard d'un mouvement qui incarne toutes les valeurs de l'époque de la modernité» («…по отношению к движению, которое воплощает в себе все ценности современной эпохи»). И действительно, эпоха Просвещения воплощает в себе все ценности современной эпохи. Это значит, что мы продолжаем жить в эпоху Просвещения, если новых ценностей не появилось. Правда, они мало меняются вот уже несколько тысяч лет…

Не так важно, все, или не все ценности Просвещения воплотились в современной эпохе; хорошо бы усмотреть хоть какие-нибудь, а воплотились ли вообще?

Равенство: безусловно нет, так, одни разговоры. Я очевидно неравен очередному Якову, британскому королю, хотя он на самом деле Джеймс, то есть Ефим, и даже своему однокласснику я не равен, ни в правах, ни в чём. Единственное настоящее равенство – в праве отдать голос всё равно за кого.

Свобода: безусловно нет. Она заканчивается там, где начинается мой сосед. Потом все остальные, и не только соседи. И я по-прежнему могу сказать, что президент Америки не умён. А про президента России я так сказать не могу. Потому что умён.



Братство: безусловно нет. Бедный Шиллер! И Бетховен бедный! Сколько симфоний ни пиши, братских чувств больше не станет. Прав был Иммануил Кант: «Из столь кривой тесины, как человек, всё равно не выйдет ничего путного».

Все остальные валёры (toutes les valeurs) современности – так же, как эти, дым и кажимость, остаются только заповеди, но при чём тут Просвещение? С этим – к Моисею, на гору, дважды.

В политическом смысле наследием просветителей можно считать:

1) антидеспотические настроения, ведущие к республиканскому высокомерию, неизвестно почему презирающему монархию как предрасположение к тирании, но и это – от дурного образования парламентариев;

2) равенство как политическая функция полезна только в одном смысле, с одним резоном: нарезанная мелкими долями воля годна только для изъявления рабской покорности голосовать за кого прикажут с готовностью и даже с восторгом, помахивая чем-нибудь, у кого что есть, можно ушами, можно хвостом, можно и всем организмом;

3) разговоры о правах человека были бы легко квалифицируемы как жалкая болтовня, если бы давно не приобрели внятную доминанту глумления: весь наглый трёп о правах человеков гроша ломаного не стоит, пока нет ответа на вопрос, стоило ли покончить с церевичем Димитрием, за что убили царевича Алексея с семьёй (не почему, а за что!); пока нет ответа на вопрос, где, у кого вся собственность, отчуждённая у живых ещё наследодателей за последние хотя бы два-три века;

4) разделение властей потребно только для «цветовой дифференциации штанов»: у кого в кулаке зажата деньговласть, тот всех девушек и обедает после танцев; сведений о собственных казначействах судов и парламентов пока не обнаружено, поэтому главным всегда будет оставаться то исполнительное ведомство, чей бухгалтер заполняет ведомости на зарплату судейских и парламентских говорунов – правительство со своими источниками всех доходов;

5) те отрасли государственного хозяйства, где нужна неотвратимая ответственность за принимаемые решения (налоги и защита людей и территорий, с которых собираются налоги), существуют вне коллегиального духа расхлябанности, только и исключительно при единоначалии; и это полностью противоречит просветительскому вольнодумству и вольтерьянству;

6) гигантские скачки в области образования и просвещения последовательно сделали всеобщими начальное, среднее, высшее (скоро будет ещё какое-нибудь) образование при одновременной деградации всех культурных институтов, обнимаемой понятием «расцивилизация», движение Просвещения вспять, в обратную сторону, к торжеству всеобщего невежества, сопоставимого с уровнем, описанным в бунинской «Деревне», к качеству элит за три тысячи лет до Цинь Шихуанди и Тутмоса II; удел живых просветителей – документирование процесса расцивилизации.

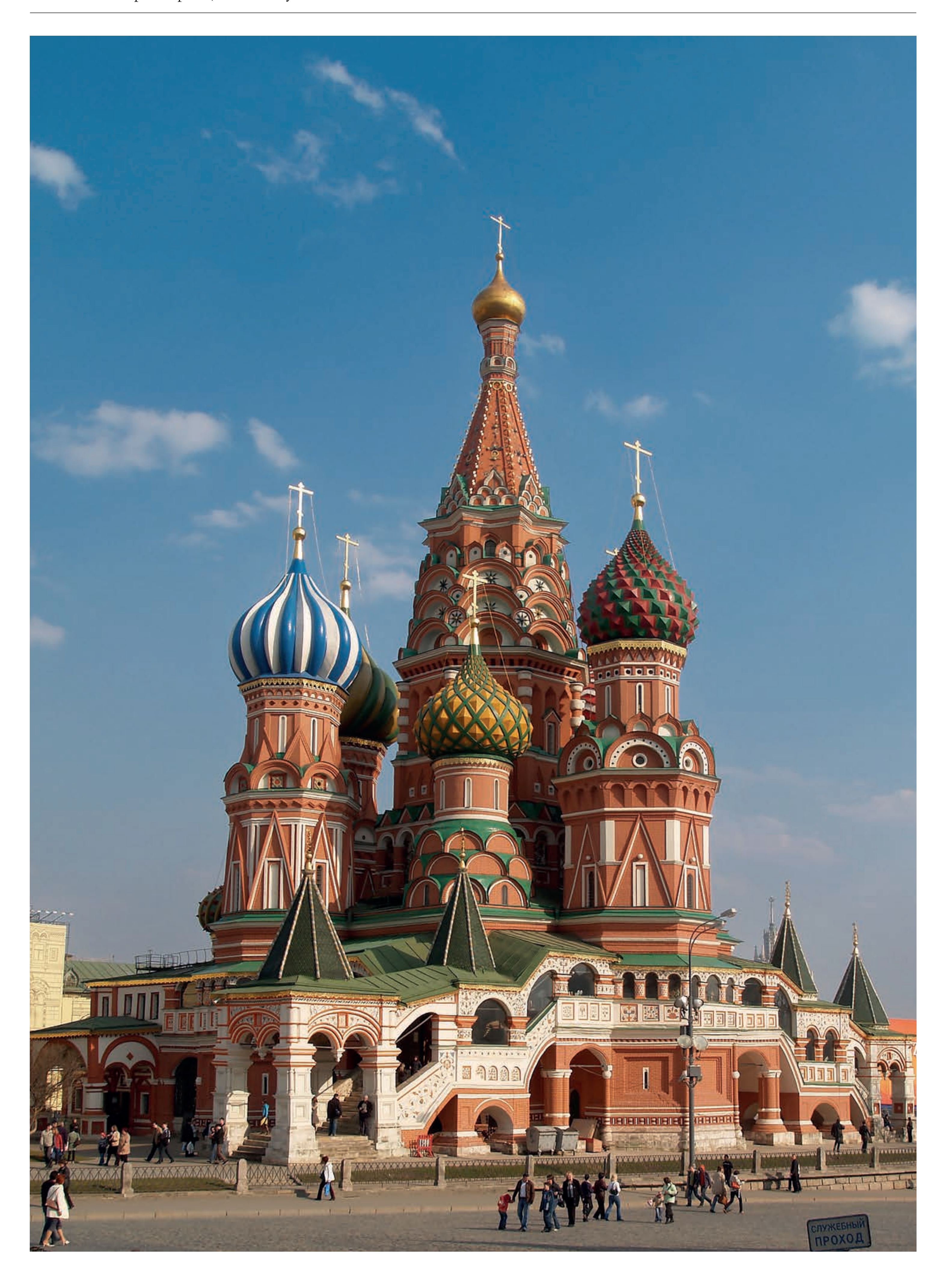
⁂

Бессистемность повлияла на структуру книги. Она позволяет избежать обязательности и логичности, а особенно концептуальности. Ворох картинок всегда хочется как-то разложить по порядку, но как только появляется порядок, появляется лишнее и ненужное, избыточное или не согласованное с порядком, ненужное для порядка: уже и так всё ясно, зачем ездить по протоптанной тропе. А выброшенного жалко. Ошевенский монастырь, Улейминский или Анастасов никак не приклеиваются к поступи истории и ни для чего в ней не пригодились, ни для какой идеи, системы и порядка. Своя речь у них есть, и эти слова для кого-то, может быть, не менее важны, чем всё красноречие Новодевичьего, Новоиерусалимского или умолкшего Чудова монастыря.

Простейший порядок – стопки картинок, хоть как-то объединённые временем. Всё, что есть в мире (кроме событий и перемен), уже сфотографировано, и не по сто раз, гораздо больше, в снимках ничего нового нет, даже настроения уже были. Но видят все всё всегда везде по-разному. «Синее-то оно синее, да. Но ведь и розоватое!». А после искусства XX века оно запросто может на поверку оказаться слегка кубоватым и гнутым, но только в поперечнике утром. И поскольку все всё видели, все тексты с наставниками читали, нужные стихи вовремя учили, самым интересным становится комментарий. После Наума Коржавина – что ещё можно увидеть в церкви Покрова Богородицы на восточной Нерли? Ровно ничего. Но можно полюбить её ещё сильнее, когда представишь её себе с преждебывшим гульбищем, образ которого невообразим, но из сотен виденных всеми гульбищ складывается колышущийся, зыбкий облик каменных крылец и крытых переходов, о чём мы можем вызнать только из комментария. Образу Наума Коржавина от этого не тепло и не холодно, но комментарий прижимает нас к камню теснее, тепло передаётся квадрам кладки или кирпичам, и отпечаток в памяти вдавливается глубже, прочнее, точнее, чтобы потом встать в ряд других таких же оттисков.

Преследуется ли какая-то цель? Да, конечно. Показать, что научные представления о русской истории XVII века не просто неполны, а неверны в той части, которая касается понимания истории. Даже после написания в течение столетий многих трактатов по философии истории сам вопрос о понимании истории вызывает лёгкое недоумение. «Надо знать, а не понимать!» И с этим не поспоришь. Однако же в истории есть огромная масса вещей, которые вовсе не надо знать. Имя любимого коня Александра Македонского осталось в истории, и его надо знать, раз осталось, хотя проку никакого. Сколько стволов дуба (какой толщины, возраста, длины) использовано для кремлёвского вала в Дмитрове – совершенно неважно, даже когда точно будет выяснено, сколько и чего, важнее – не знать, а понять, как он устроен, чтобы сохра-




СЛУЖЕБНЫЙ
ПРОХОД

нять высотную прочность на протяжении шести, кажется, веков без какой бы то ни было гидроизоляции.

Знания, эрудитски набросанные в сосуд памяти без понимания – как электронный вычислитель в шахматах – рано или поздно переберёт все варианты своих и не своих решений, и выиграет у человека. Докажет, что может выиграть. Зачем? Полезность скоростных вычислений доказывать не надо, зачем сравнивать её с человеческой? Больше и быстрее. И? Абстракция имеет смысл только один раз, первый, как рыбная свежесть, для выявления общих и особенных черт. Производная второго порядка полезна лишь в математике, и только для ускорения получения результата, когда неважно, сколько генитивов стоит в ряду существительных, важно, что смысл не теряется, не жалко, что пропадает стиль.

Рассыпанный пазл эрудитского знания собирается вместе картинкой, части которой нарисованы на каждом клочке – это и есть понимание. Время может сожрать даже большую часть обрывков картинки – мы всё равно её увидим и мысленно с полным правом дорисуем недостающее, отдавая себе отчёт в том, что каждое перо в павлиньем хвостике уникально и самоценно, но для характеристики павлина несущественно, что гораздо важнее насладиться его дивным пением, услышать тембр голоса и интонирование каждого возгласа вместе с чарующими обертонами обязательно в вечерней роще на склоне сочинского дендрария.

Понимание истории XVII века, сложившееся в течение нескольких веков, не сворачивая с прямой, намеченной рукою самого Петра Алексеевича (отобравшего руль катка у просветителей), на линии от В.Н. Татищева через помора М.В. Ломоносова (посрамившего аж самого Г.Ф. Мюллера) при участии декабристов и А.И. Герцена, через гражданскую казнь Ф.М. Достоевского и физическую А.И. Ульянова, это понимание, эта линия добрались до ленинского преклонения перед экономическим детерминизмом, перед фетишами классовой борьбы и партийной всесильности доброго тирана. Подмять таких гигантов, как литераторы и музыканты XIX века, каток не мог, но он проложил им путь. Светлый образ покладистого диктатора не совсем без образования близок русской душе, разлёгшейся на необозримых просторах, чтобы набраться сил и соков почвы для срочной мобилизации в нужный момент; этот металлический щелкунчик-переросток неистребим и неисправим уже потому, что хватает примеров, когда прообраз героя действительно проводил нужную, даже спасительную мобилизацию.

Вольтер наметил основные черты парадного портрета просветлённого императора, продолжателям Ф.М. Аруэ несть числа, и хуже всего то, что всё следующее ниже выглядит как полемика со всеми авторами Медного всадника, бесконечно полирующими его благородный портрет несколько столетий.

А полемики-то и нет.

Всё, что ниже – рассказ о том, что у Покровской церкви на Нерли было гульбище, которое делало её ещё прекраснее. Повествование закончится гораздо раньше начала и даже середины XVII века, задолго, за век почти до 1689 года, когда будущей причине Медного всадника исполнится 17 лет и он начнёт создавать причины для обработки меди и бронзы в такие причудливые формы. Слова в этом рассказе – архитектурные памятники, построенные примерно в эти 100 лет или около того, чуть раньше и чуть позже. А комментарий дан для заострения зрения, пояснения или указания на непонятности, стоящие внимания (конечно, не все, а только те, которые бросились в глаза). Связного текста, то есть логики, системы, концепции, доказательств, структуры и сюжета – нет.

Единственная простая мысль – здесь: историю создавала не классовая борьба при развитии товарно-денежных отношений на фоне буржуазных связей в странах с ра-

зумным или недостаточно разумным государственным и общественным устройством, с участием героев и толп при войнах и прочих бедствиях, – нет, не борьба, а люди; они сочиняли историю, как умели и как получалось, оно не само катилось, а делалось умом и случаем. И самое интересное – не в закономерностях, которые что-то якобы объясняют, а в подробностях – как оно было на самом деле, в мелочах и деталях, которые обладают самой высокой правдивостью, не только потому что их все нельзя подделать, а потому что на поступки более всего влияют ничтожные мелочи, мотивация зависит не от засилья капитала и забитости обездоленных трудящихся, а от больного зуба и натёртой мозоли, от скользкой дороги и звучащей всенощной, от смертельной обиды, возникшей из-за пустяка, от раздавленной бабочки, наконец. Воодушевление от ночного сидения со свечой над рукописью может быть для судьбы важнее изобретения паровоза. Всё течение истории XVII века как лучом освещено деяниями разных героев, из которых в литературе прочно исключена была только одна категория – патриархи. То есть Гермоген, Филарет, Никон и Иоаким упоминаются, но как аптечка в автомобиле, есть, а на путь не влияют. Ну были и были, не в них дело. А дело ровно в них.

Как Борис Годунов и митрополит Иов учредили патриаршество в 1589 году, относительно подробно известно. Приехал пару раз за милостыней константинопольский патриарх Иеремия, заодно оформили и процедурные подробности, чтобы было всё сообразно канонам. Нет только ответа на вопрос – зачем. И нет ответа на вопрос, зачем Пётр Алексеевич упразднил патриаршество после Адриана, который имел репутацию ретрограда (если не мракобеса), не одобрявшего перемены.

Если и придёт кому-нибудь в голову блажь – задаться вопросом, не почему, а зачем учреждено патриаршество, фантазии зависят только от дерзновенности и образованности отвечающего. Самое простое – для пользы государства, то есть страны – недостаточно хитроумное и изощрённое объяснение, чтобы относиться к нему всерьёз. Это тоже имеет объяснение: привычно исследование причин процессов и событий, то есть ответ на вопрос «почему». Сама постановка вопроса «зачем» уделяет слишком много внимания неуловимому в принципе целеполаганию, внутренней мотивации, которая, конечно, была, но судить о ней нет никаких оснований, потому что нет никаких материальных следов. Вот тут коренится заблуждение. Следы есть. Чтобы что-то сделать, надо это захотеть сделать. Выяснив в подробностях и поняв, что сделано, можно постичь и мотивацию при начале, ведь не совсем же всё в конце концов получилось наоборот по сравнению с задумкой, хоть что-то, но от первоначального плана осталось в результате, со всеми переменами по дороге к итогу, то есть следу. Если допустить, что широко мыслящие люди в принципе существуют, то в их мотивацию можно проникнуть, допустив следующую недоказанность – что они хоть иногда руководствуются благими побуждениями, а не только крокодильством. Тогда правомерно предположение, что патриаршество учреждено для улучшения общественного и государственного устройства, то есть повышение статуса священства до максимально возможного виделось как благо для страны после царствований Иоанна Грозного и Фёдора Иоанновича – для уравновешивания самовластия самого сильного или самого слабого государя. Должен быть кто-то, кто в момент принятия решения скажет: «Да ты опамятуйся хоть сколько-нибудь!». М.Д. Бальзаминову, герою пьесы А.Н. Островского, достаточно было отрезвляющего возгласа грубоватой, но очаровательной прислуги, у государей слух не такой тонкий, потребен патриарх с опытом почти полуторатысячелетней тогда мудрости предков, чтобы удержать от опрометчивого шага или побудить к доброму начинанию.

В западной традиции мысли Дж. Локка и Ш. де Монтескье о разделении власти на три части могли появиться только от безысходности, как реакция на то, что есте-



ственным путём попыток «укрощения» государя папство прошло давно, во многом повторяя античные опыты, и «кесарю кесарево» уже досталось, приходилось искать равновесие для (единственной настоящей исполнительной части) власти, внутри неё самой через отделение и переопределение функций в законодательные и судебные отростки, придавая им видимость веса пестротой одеяний. Итоги поисков прекрасны как (гр)устная литература для избирателей и ничтожны как управленческая действительность – цари и председатели всего хороши постольку, поскольку самодержавны, то есть поскольку они принимают решения (правильные и неправильные) и несут

за них ответственность. История отношений пап и королей (императоров) была прекрасно известна в России, но отчего бы не попробовать на новой почве – уж тут-то всё наверняка будет иначе! Иначе и получилось – староверы как всемирно-историческое явление с многовековой традицией уникальны. Страна приобрела на несколько веков иммунитет к разговорам о народовластии, разделении, выборах, равенстве и свободе. Парламентаризм как институт не спасали и не спасают отдельные редкие печальные герои, вроде П.Н. Милюкова, судебная власть по-прежнему ютится в мазанках и курятниках, на пышности привычно экономят. Но память о двух равновеликих прыжках к чуть более справедливому устройству государства и общества должна остаться в памяти человечества: Никон (Никита Минич Минин) сделал не меньше, чем Ленин (Владимир Ильич Ульянов), хотя на совести последнего крови несравнимо больше, начиная с Николая II и семьи.

Видимая история – один из способов её изучения и изложения, часть немедицинской психологии, один из способов применения психологии. Архитектурный памятник – эмоциональная дальнобойная артиллерия. Неизвестно, как и чем, но впервые видимая церковь Преображения в Острове, её образ – что-то делают в голове, даже в той, которой «неинтересно, да я не разбираюсь, мне всё равно, да вообще надоело это всё», всё равно, что-то в ней, в голове, остаётся, воздействие обязательно впечатывается, хоть с воды смотри, с борта парохода или далёкого берега, хоть с земли. «Не нравится» на деле означает «не знаю, не разбираюсь, не понимаю, перестаньте объяснять мне, что я неполноценен, раз не понимаю». И пусть. Образ всё равно застревает и работает, даже когда стирается из памяти как будто насовсем, как именно работает – никому не ведомо, как и полагается в психологии, там всё «работает, но неизвестно, как», причём в сфере эмоций и эмоционального ума (если такой есть). Переменить вышеупомянутое ‘предубеждение’ касательно XVII века (тёмный-де, и убогий), если и возможно, то ‘послеубеждением’, тоже неосознанным, почему-то застрявшим в голове. Тут лучше архитектуры и придумать ничего нельзя, эмоциональный микроб падает в голову и начинает как-то работать. А потом – «ничего себе был век, оказывается, прав был Освальд Шпенглер насчёт псевдоморфоза начиная с Петра», надо восстанавливать форму. Потщимся же показать, если не в силах доказать, что для восстановления формы (в шпенглеровском понимании) самый главный и в то же время достаточный шаг – восстановление достоинства, чтобы задранный подбородок памятника Осипу Мандельштаму на Ивановской горке был не зна́ком задиристой заносчивости, а зна́ком великого несломленного достоинства, пусть даже замысел и не слишком удачно исполнен, даже испорчен этой путаницей, потому что честь и гонор в русской речи – не просто разные, но противоположные вещи, а заметен только возвышенный нос.

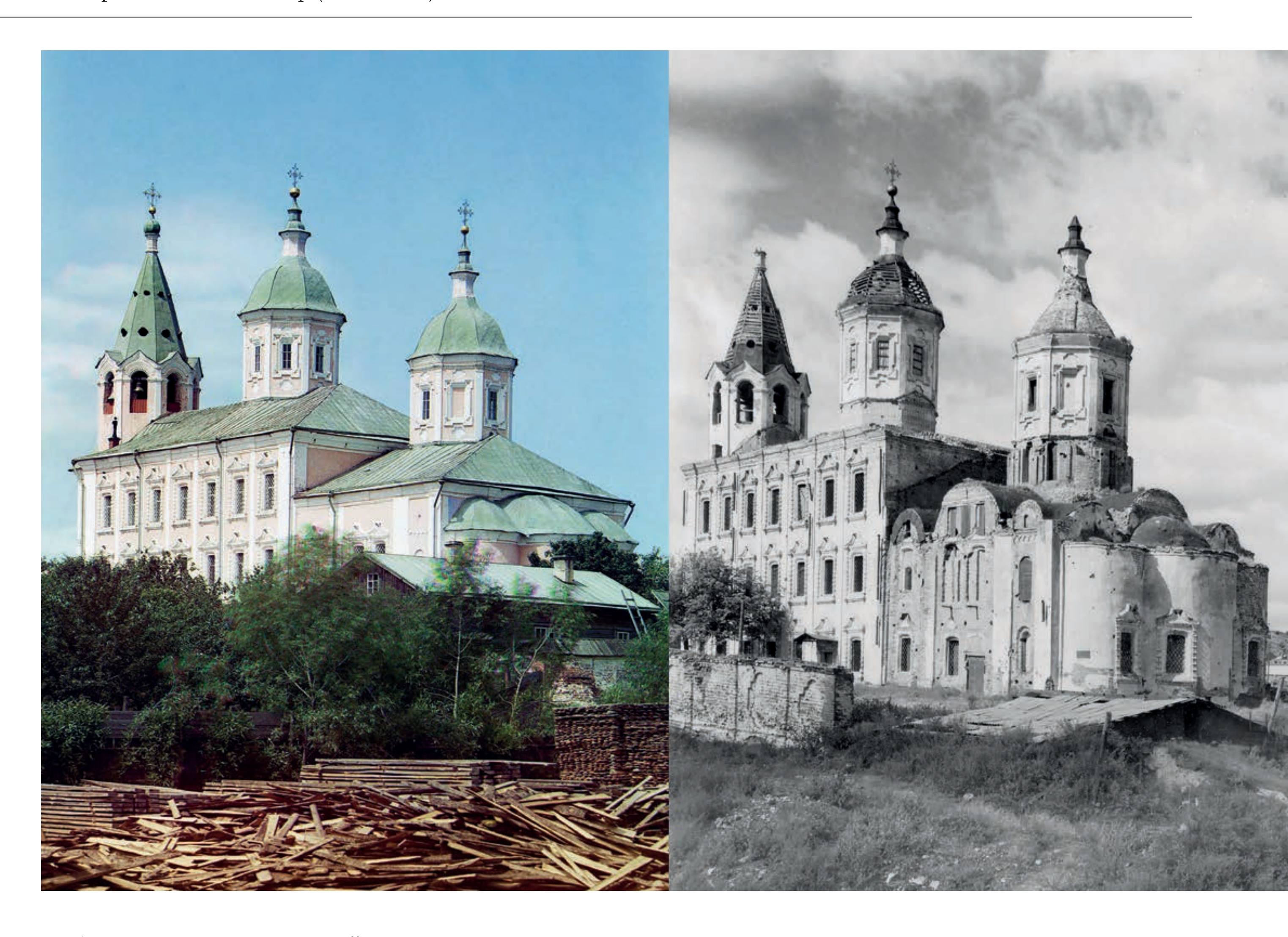
⁂

Не костюмы и интерьеры, а люди и их лица составляют главный интерес портретной живописи, а в лицах – не миловидность или безобразие (это и так лезет в глаза живьём), но то, как прожитая жизнь, даже самая непродолжительная, иногда несколько младенческих лет, иногда и несколько десятков лет напряжённых трудов на каком-нибудь поприще, отразились на внешности – то, как эти прожитые годы сформировали лицо, отпечатались на нём, изувечили его, или украсили, то, как с одного взгляда можно определить, добрый человек или злой, отпечатались ли книги изнутри лба в морщинах снаружи, или только обмахнули пот перелистываемыми без старания страницами. Даже и безлюдные картины привлекают взор тем, что автор пытался передать, какую мысль или настроение, может быть, его привлекло удивление случайной прелестью природы, может быть, порыв страстей или неодолимых сил моря



и ветра, перед которыми пасует любой человек, или восхищение силой слабого человека. Чтобы увидеть всё это, надо немножко встать на цыпочки, дотянуться до картины умными глазами, отвлечься от недоеденной котлеты или тесной обуви; чтобы услышать речь тех, кто на портретах, надо перестать слышать шум сего дня.

Трудно сомневаться в том, что примерно то же происходило и происходит с каменными картинами, хоть там и нет, как правило, лиц. Только размер, расстояние отвлечения (абстрагирования) больше. Ум, доброта, прожитые годы – всё это касается человека или нескольких человек. Надо уловить, добыть главное и сказать кистью или резцом, передать то, что уловил, так, чтобы поняли те, которые станут смотреть. Так или иначе, но художник имеет с дело с тем, что он видел, что было или могло быть, что так или иначе существовало, хоть в мечтах. А архитектору надо сказать те слова, которых не было, соединить каменные (или деревянные, неважно) ноты в мелодию и ряд, которые ещё никто не слышал, но при этом так, чтобы их узнали зрители, и чтобы признали своими. Давление образа с картины прямое, от ткани к глазу, передаётся или нет, в зависимости от смотрящего. Давление образа с каменной картины передаётся в любом случае, даже когда смотрящий стоит спиной к зданию, отвернувшись от него час назад. Даже когда вовсе не видел и не мог видеть – Царёв-Борисов городок ушёл в землю, а церковь в нём тревожит умы реставраторов и художников. Это давление работает как клеймо в глине сырого кирпича только для специалистов, для всех остальных оно подобно гравитации, то есть не ощущается. Чрезвычайно сильное и чрезвычайно слабое, незаметное, но жизненно необходимое, из миллиарда срабатывают три молекулы – или сразу все, но зато на всех. Видевший даже на мутной картинке полсекунды крест над Рио-де-Жанейро – уже не забудет. Мелодия, придуманная архитектором, проникает в самые древние отделы мозга, как запах или, лучше сказать, аромат. Даже забытый полвека назад, он где-то хранится, иначе его не узнать, когда он появится вновь – а он узнаётся, восстанавливается, как запах флоксов из детства или сирени из юности. Из-за слабости (она же мощь) воз-

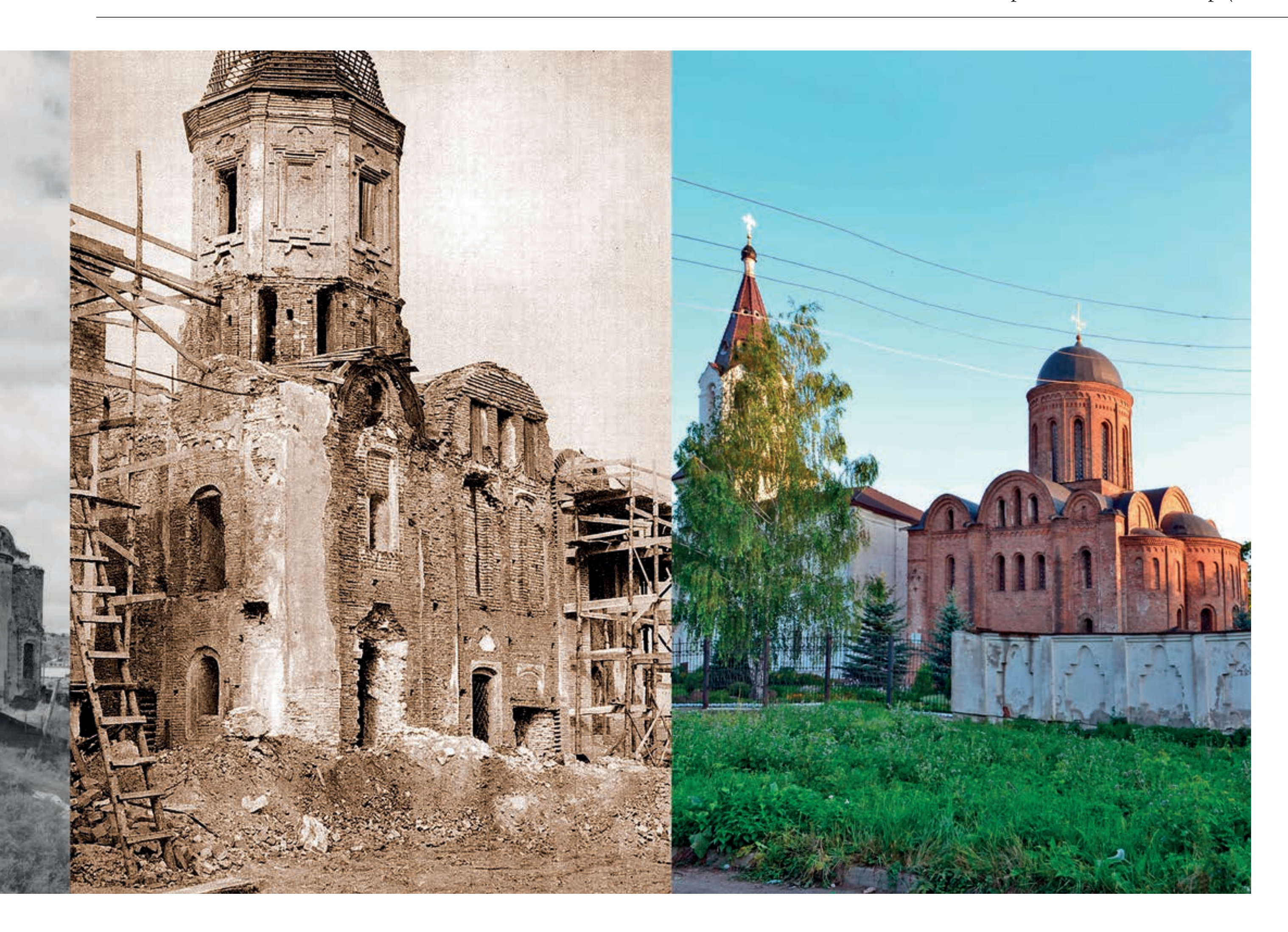


действия архитектуры её трудно уловить, унюхать и понять, потом назвать, потом рассказать словами, выстроенными в свою очередь в порядке какой-то концепции, теории, упорядоченного смысла.

Слабость можно обратить в силу. Не хватает красноречия – будь умницей, покажи пальцем, пусть оно, то есть то, на что показываешь, говорит своим голосом само.

Последовательность указаний пальцем тоже не образуется самопроизвольно, алфавит и хронология хороши как принцип организации материала, но свидетельствуют о лени и передоверяют работу автора читателю – ты, мол, сам как-нибудь разберись, а я вот тебе рядок вывалил из рюкзака на стол, копайся сам.

И тут вот на что само собой перевелось внимание. Иван Грозный без Макария и Филиппа, Борис Годунов без Иова, Василий Шуйский без Гермогена, Михаил Романов без Филарета, Иоасафа I и Иосифа, Алексей Михайлович без Никона, Фёдор Алексеевич и Софья Алексеевна без Иоасафа II и Иоакима, Пётр Алексеевич без Адриана и Стефана Яворского, все как один – одноногие, на протяжении всего века. Частично царствования и патриаршества пересекались, налезали одно на другое и не совпадали, но в целом примерно так. Патриархи – конечно, не всегда центральные действующие лица и главные герои истории XVII века, например, про Питирима почти ничего не известно, но всю дорогу как-то без них не обходились, каким-то бочком они прикасались ко всему. Последняя попытка присмотреться к церкви как к источнику по истории вообще (жития святых) после Филарета Дроздова и Макария (хотя и у них тоже речь не об этом, а только о церковной истории) была предпринята В.О. Ключевским в его диссертации, и безрезультатно – почти ничего ценного добыть не удалось. Это знание тоже полезно – в комнате выгорожен уголок, куда ходить не надо, потому что там ничего нет. Однако же авторитет знания историков



XIX века, перешедший через П.Н. Милюкова и других в век XX, опиравшийся среди прочего и на петровскую синодальную традицию, и на опыты Екатерины II с секуляризацией имуществ и просвещением, а равно и на общественные умонастроения от декабристов до народников, и потом на партию общественных народовластцев (более известных в переводе, скрывающем бессмысленность наименования их социал-демократами), – этот авторитет в историографии, в учебниках и общих курсах вытеснил всю религиозную тематику в область разделов о культуре в лучшем случае, а чаще историческая палка в руках политических смельчаков «выколачивала мракобесие» из тех, кто занимался этим профессионально, причём, как отчеканил В.И. Ульянов (Ленин), «чем больше, тем лучше», и не вешать, а именно расстреливать, это эффективнее, потому что быстрее. Русло историографической реки, ископанное таким могучим агрегатом, не вернулось в естественное течение и по сей день, нужны новые аргументы, но они логично и скоро обрастают бородами и хоругвями, что справедливо вызывает то оторопь, то остолбенение у приличной публики, отвыкшей от махорки, портянок и нарочитой простоты, маскирующей невиданную мудрость и прозорливость, опознать которую как таковую дано не всем, а только тем, «кто приобщился», согласившись избегать использования рассудка при оценке состояния дел и вещей.

Хоть запах ладана и смирны не неприятен, постараемся избежать и его – на всякий случай, просто чтобы не пытаться окрестить конфуцианцев и буддистов, снисходительно наблюдающих попытки «нести им свет, доселе неведомый». Канифоль нам привычнее, поэтому попробуем спаять нижеследующее чередой последования патриархов, их было немного, попадались и невзрачные, но по большей части они обладали могучей волей и оставили следы своей деятельности, то неприметные (вроде

росписи Успенского собора в Книгинине монастыре), то ошеломительные (вроде Семи крестов в Кремле). Первые надо рассматривать в микроскоп, вторые не должны ослеплять величием, а что именно важнее (песчинки под ногами или горы на горизонте) – должно показать то, что расположено позади глаз, а не сами глаза, видимость обманчива, хотя и не всегда.

Чтобы понять, хорошо сукно или не очень – не надо анализировать его до состояния первоначальной шерсти, из которой состоит материал, достаточно присмотреться и попробовать рукой, прикоснуться. Поэтому цель книги – предложить: и присмотреться, и попробовать рукой, чтобы приобрести лучшее и потом пользоваться (носить) годами, пока не истлеет.

*

Петропавловский собор в Смоленске построен в XII веке. Его история – вовсе не редкий пример мучительной судьбы собора, по которому долго перекатывались волны войн, в разные стороны, по много раз. Время и войны – действительно, не приходится спорить, портят много. Но всё же больше портят люди. Не пионеры всех возрастов и эпох, которым просто приятно стукнуть камушком по фреске – «А чего это она тут развиселась!», а солидные люди с умными животами, наверняка знающие, как сделать получше, чем «это устаревшее» и малосимпатичное, на их искушённый взгляд. И вот тут динамика перемен, поскольку очень медленна, может много и наглядно рассказать и о самих делателях, и об их временах – они же старались угодить вкусам своего времени, или во всяком случае продемонстрировать самые выгодные черты своего миропонимания. Для наглядности динамики старые фотографии, рисунки – драгоценны в привязке к датам и процессам. И лучше идти вспять, потому что в огромном большинстве случаев оказывается, что отреставрированное исходное по эстетической составляющей и по хитромыслию строителей превышает всё, что поместилось между начальной и нынешней точками во времени: нынешнее близко к исходному. Руины – это о времени и о войне. Увидев отреставрированное, надо обоɤротиться к промежуточному, ещё тогда относительно невзорванному и неосыпавшемуся. И удивиться нехватке топоров в те времена, когда здание от исходного менялось к промежуточному. Руки надо отрубать раньше голов тем, кто так строил, а главное, пожелал так строить, кому пришло в голову сочинить такую реконструкцию, заказать проект, чертежи, расчёт материалов, подбор кадров, «осмечивание» и «оплачивание».

Как Петропавловский собор прошёл путь от 1146 года до 1605 – неизвестно. При Борисе Годунове Фёдор Конь построил 6,5 км крепостной стены из кирпича, длиннее тогда была только Великая китайская, но вытянутая в ниточку и как-то несопоставимо длиннее, там тысячи километров, строили веками. Из материала, что пошёл на коньскую стену, можно построить много каменных домов. В Москве (длина стены кремля 2,235 км, Китай-города – чуть больше) в это время было несколько сотен, европейские столицы наслаждались в основном совершенством глинобитных домов. Через век Пётр I станет знаменит тем, что по градостроительной своей прихоти запретит каменное строительство во всей стране, а Борис I Годунов в конце XVI века выгреб отовсюду всех каменщиков и даже гончаров, настолько важна была оборона от агрессии с запада.

Уже в XVII веке на западе от собора появилась простая колокольня с непростыми крыльцами на юг и на север, они сами по себе стали гульбищем, в котором в прошлом и более ранних веках появилась потребность (как в тамбуре перед натопленным или нет помещением), прежде чем войти в церковь, надо перевести дух.

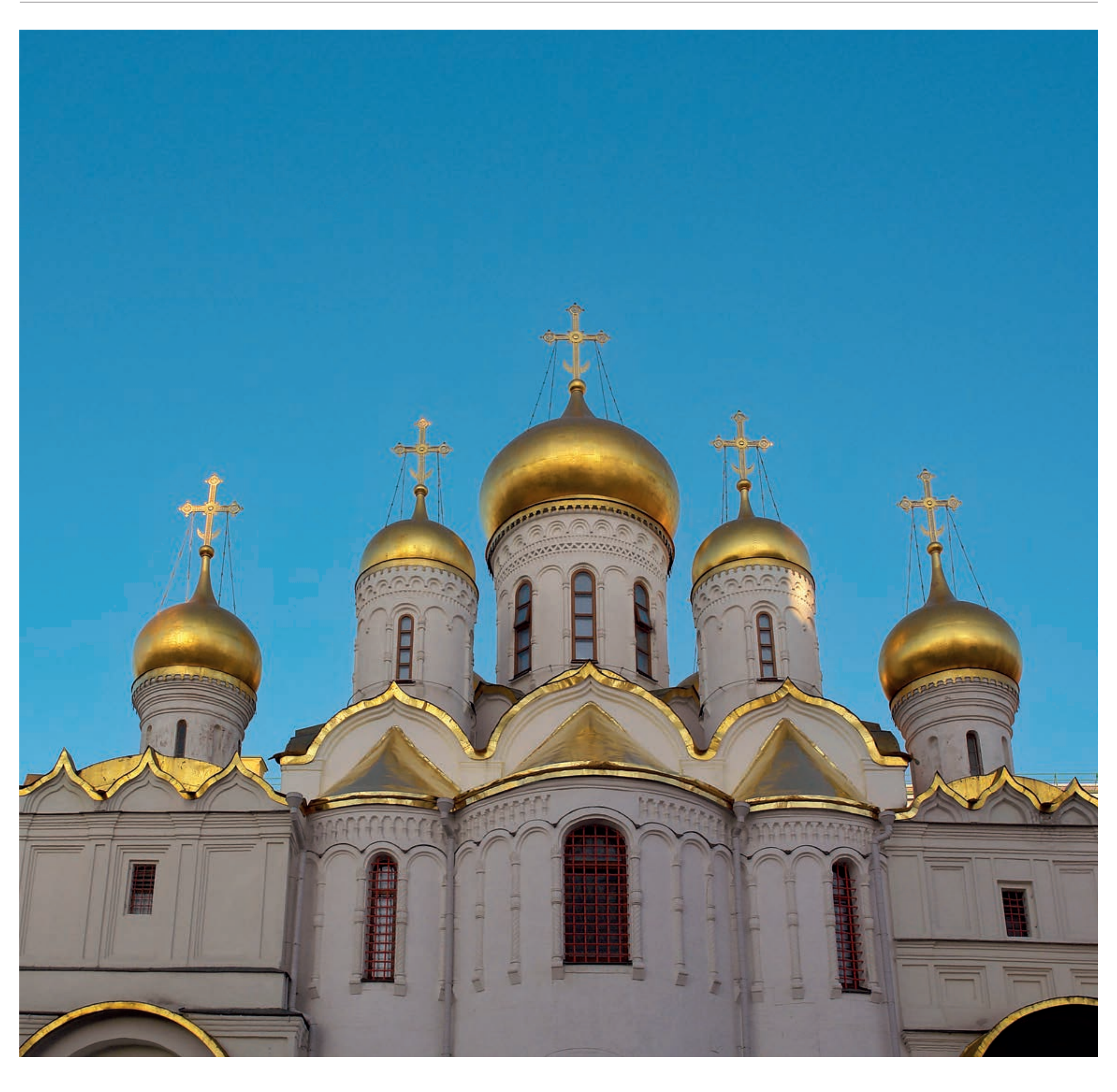


Перемены XVIII века заслуживают особых, изощрённых, внимательно обдуманных, даже выношенных похвал. Какими чертами внутреннего мира можно объяснить их (перемен) появление? Ответ неожиданный, но другого по трезвом размышлении не появляется. Это просвещение как процесс и как эпоха. Ордерная симметрия и геометрическая простота, доступная уразумению каждого, рождают тенденцию к упрощению формообразования, красота начинает путаться с вычурностью, завитушки заменяют изгибы, ритм, ордер и перспектива портят друг друга, пытаясь поддержать.

Здание в три этажа по семь окон на южном фасаде абсолютно разумно. Если его продлить в высоту ещё двадцать раз – можно ставить в XX веке на скалу в Манхэттене, оно затеряется среди близнецов разных возрастов, надо просто дождаться технологии строительства. Торжество здравого смысла – поставить вплотную к собору, без зазора. И вся сила таланта перестроителя сгустилась в ритмической цифре «Три». Наверху образовались три башенки; чтобы охарактеризовать их неповторимое, тщательно продуманное изящество, нет лучших слов, чем «конгруэнтность», «подобие», даже равенство и чуть ли не «справедливость и равенство». Они просто и элегантно расположились не где-нибудь, а именно сверху, над четырёхскатными крышами, что совершенно замечательно для их функциональной нагрузки, работающей сразу на две группы органов чувств – зрительно-световых и музыкально-слуховых.



Тот комплекс перемен, которые произошли в головах заказчиков и строителей отеля между колокольней и собором, может быть очерчен только одним словом – ослепление. Вспышка света, произведённая Просвещением, произвела ослепляющее действие. Простота, разумность, полезность, осмысленность и ориентация на удовольствование обитателей отеля – итог тех передвижек, которые приключились от 1146 до 1946–1965 годов (а это всего-навсего три эпохи, из них последняя длится и сейчас – средневековье, Возрождение и Просвещение), когда П.Д. Барановский ножом отрезал от этого пошлого тортика то, что убивало Петропавловский собор насмерть. Оставшееся и сейчас убивает, но позволяет дышать немножко. Возрождение и высветление собора потребовало расправиться с примитивностью и убожеством грубого Просвещения, всё Просвещение оказалось просто меньше одного собора. Византийское существо архитектуры собора не надо ни возрождать, ни просвещать, достаточно просто беречь, как камертон и Парфенон, просто потому что он ближе к Парфенону, чем к Версалю или Петергофу, и потому



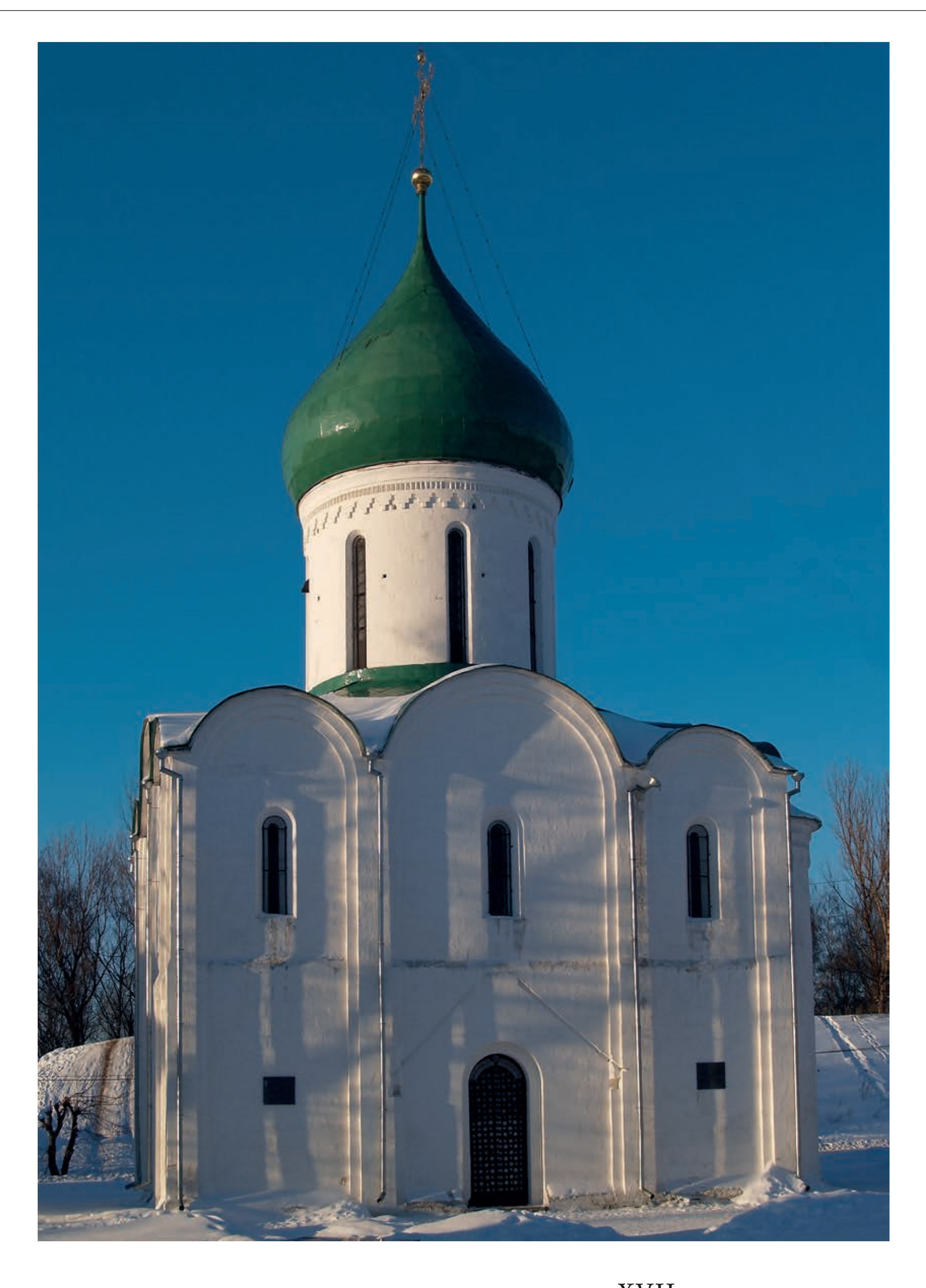
больше. От Парфенона до Петропавловского собора всего полторы тысячи лет, а от него до П.Д. Барановского – целая тысяча. Поэтому без преувеличения можно сказать, что П.Д. Барановский и всё племя реставраторов XX–XXI веков ближе к Иктину, Фидию и Праксителю, чем производители античных портиков и колонн из XVIII и XIX веков. Они оказались раздавлены преклонением (не станем бояться слуховых галлюцинаций, иллюзий, аллюзий и конклюзий, не говоря уж об эксклюзиях) перед западом, порождённым рукодельным императором как раз в эпоху Просвещения и на триста лет заразившим общественное и художественное сознание целой страны дурной болезнью забывчивости. Получив античное наследие из ладони в ладонь от Византии и из Генуи, развивая его после фрязинских мастеров в течение двухсот лет непрерывно и славно, мастера XVIII и XIX века потом отмахнулись от него ногой и теперь через ложнорусский стиль и модерн архитектура пытается вспомнить, «а что, вот так просто – это разве и есть хорошо?». Витрувий, а за ним Альберти и Скамоцци, может быть, и знали, что такое снег, но не ходили



по нему семь месяцев в году каждый день своими ногами. Дверь в зимнее помещение высотой пять метров – просто отопление неба; архитектура, не выросшая из климата – заносчивость и расточительство.

От Ивана и Василия Третьих через Ивана IV к Борису I – целый век, ушедший на амальгамирование византийского золота и итальянского серебра (в котором тоже немало от греков, поименованных ромеями). Достаточно назвать три церкви, чтобы высокими вешками обозначить этот путь: Успенский собор в Старице (1530), церкви Вознесения в Коломенском (≈1529–1531) и Преображения в Острове (приблизительно конец века или начало нового).

Про Преображенскую в Острове спорят скоро два века про семьдесят лет – от первой трети XVI века до самого начала XVII-го. Статья В.В. Кавельмахера, со-



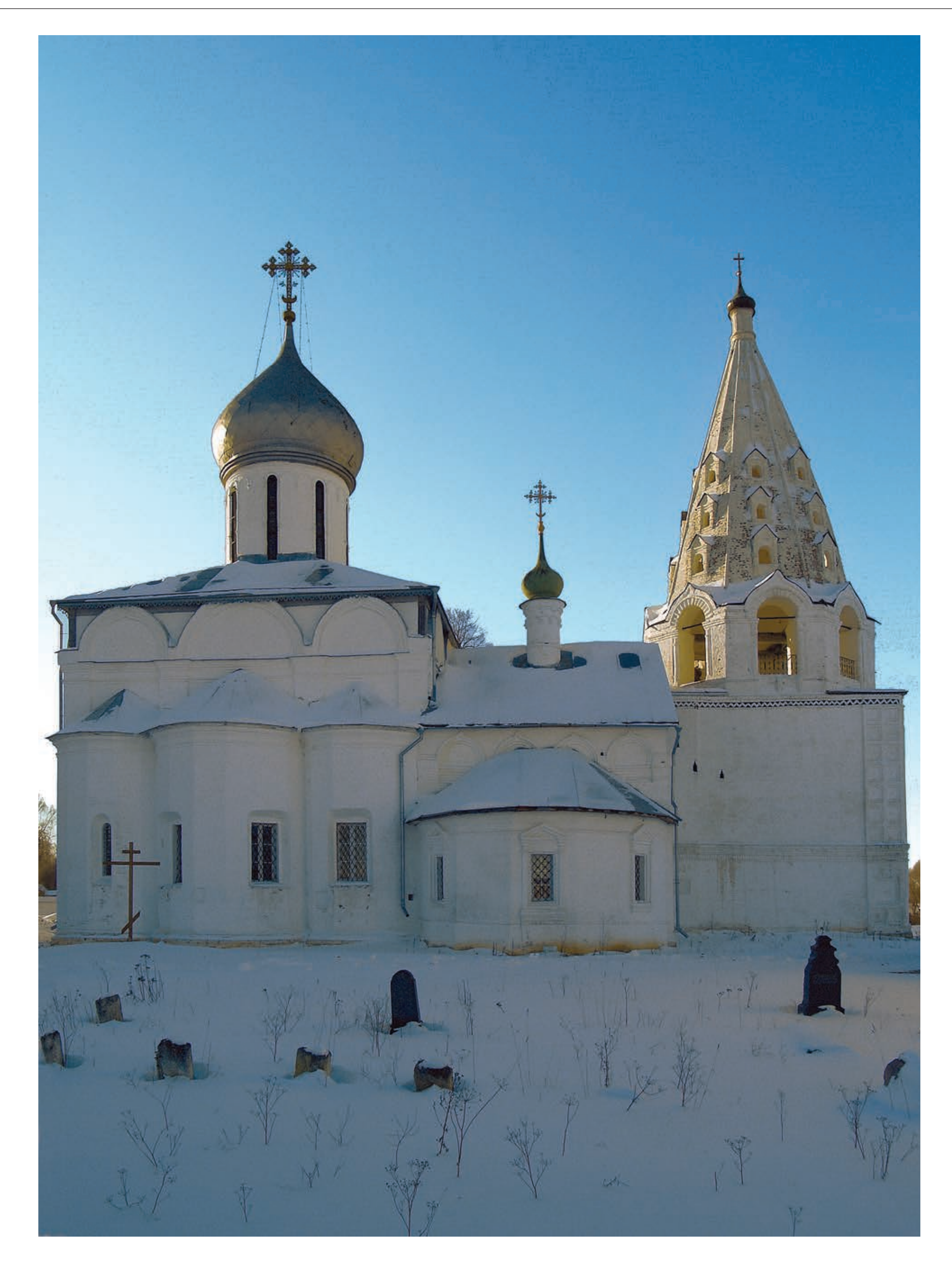
бранная его сыном, относит создание церкви к началу XVII века, то есть к годуновскому времени, или даже позже. Где-то тут же помещаются большие перемены в околокремлёвской архитектуре. Развивая то, что в XVI веке подмастерья каменных дел строили, вспоминая учителей и их образцы, «по догадке», из наития, припоминая и предполагая, уже в XVII-м они стояли на крепких ногах, рубеж и революция Годунова – не овраг между веками, а мост между ними. Причём дивным манером в XVII веке вновь выплывают приёмы, знакомые с XII и XIII, и прежде всего – активное, зрелое, с чувством, – пренебрежение симметрией. В Благовещенском соборе фряжские (а потом в других местах и русские) мастера не презирают симметрию, они где положено используют её, но рядом легко отказываются от неё, потому что знают наверняка: никто не заметит, что северная апсида отстоит от центральной

на две арочки, а южная – на одну, так как солнце именно в таком порядке должно заглянуть и туда, и туда, а «нос» огромного окна центральной апсиды не позволит такому «косоглазию» стать заметным.

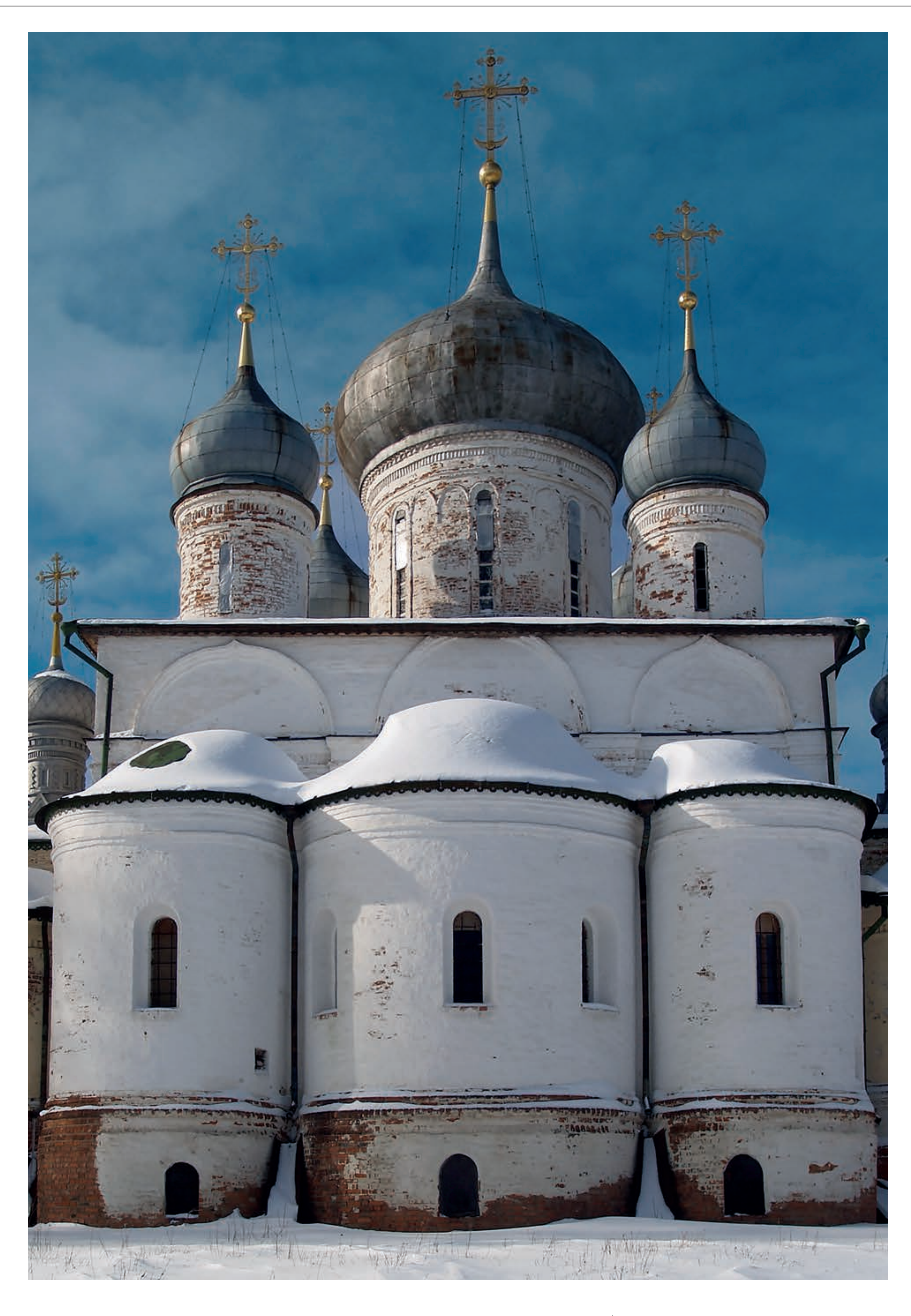
⁂

Преображенский собор в Переславле-Залесском – из самых старых (1152), а и там плечо к алтарю опять – и пониже, и поуже других. Правда, нельзя сказать, что к алтарю – значит, к востоку, потому что апсида смотрит почти твердо на север, а не туда, куда обычно. Это не недосмотр. Причина, вероятно, в том, что фундамент под собор начинали размечать во второй половине июня, в ясную погоду, когда солнце, даже всего на сто вёрст севернее Москвы – отказывается садиться окончательно, и встаёт, едва дотянувшись до земли, почти на севере – поди тут узнай, где восток. Судя по колдовской привлекательности Преображенского собора, строили его умелые мастера. Зауженные и заниженные северные прясла и закомары уравновешены сильнейшим инструментом внешней выразительности – окнами; на востоке их три штуки вровень по высоте, на юге центральное над входом задрано, на западе правое (заложенное) ниже; зачем так? Разница восточного и западного фасадов объясняется, может быть, тем, что собор строили при уже стоящих валах: стоящий с востока на закомары всегда смотрит, задрав голову, и отличия прясел не очень заметны снизу; стоящий с запада на валах обязательно упрётся взгдядом в эту разницу ширин, и его внимание отвлечёт немного упавшее правое окно. Из этого с необходимостью вытекает, что строитель хотел скрыть, припрятать поклон алтарю, то есть чтобы действие (поклон) происходило, но незаметно, само собой, чтобы цельный образ без расчленения на анализ и постижение, без понимания – можно было бы сразу, одним куском, положить в карман и унести с собой.

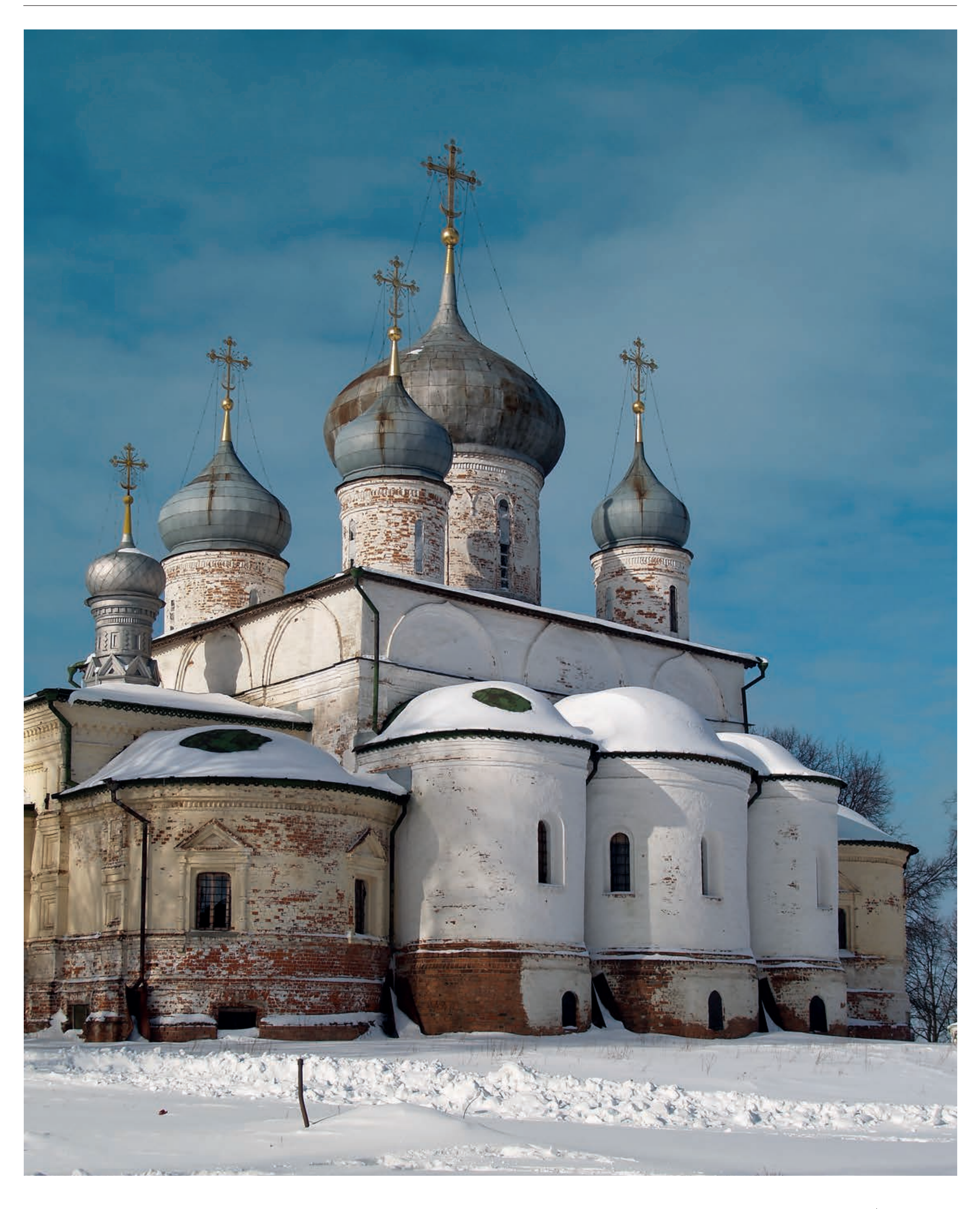
На этом фоне Даниловский собор (≈1531) Переславля немного пригрывает – ему на голову нахлобучили четырёхскатную кепку, которая делает лицо глуповатым, всегда угрюмо-невыразительным и взгляд всегда исподлобья, а ведь там ближние к алтарю прясла и закомары тоже поуже и пониже. То есть те, убогие, забитые, несчастные, полуграмотные и малоразвитые, щи лаптем, и то не очень удачно хлебающие, – верное позакомарное покрытие сделать смогли, а нынешние многовысокотехнологичные строители – никак? Или нет понимания, что зарницы, юные армии и всё военно-патриотическое воспитание в деталях, по частям и всей неуклюжей тушей – гроша ломаного не стоят по сравнению с Успенским собором на Городке в Звенигороде (≈1400), приведённом наконец в порядок, что Даниловский собор с позакомарным покрытием обернётся красавцем, словно дряхлый сказочный царь после купания в разных водах. Стоит только приметить, что обкусанные серединные закомары с четырёх сторон – это самая малая из потерь, пакгаузный внешний вид долгое время был и у Успенского на Городке. Вообще надо смириться с тем, что сегодняшние архитекторские и искусствоведческие глаза много зорче тех, что были употребляемы в XVIII и XIX веках для поправления или спасения «невзрачных» древних сооружений, то, что было тогда устроено, не улучшило, а ухудшило их вид. Единственный критерий – наличие таланта и ясной головы, вот с этим-то и случилась нехватка, с ясной головой, она слишком часто была соблазнена просветительскими кумирами и простотой рецептов. Даже в николаевское время и позже поиски старых навыков поначалу приводили к появлению ложно-русского, псевдо-русского и слепо-русского стиля. Фёдоровский собор Фёдоровского монастыря (1557, Ѳеодоръ – покровитель Фёдора Иоанновича) раздавлен плоской крышей и распластан ещё более пристройкой с двух сторон бессмысленных конструкций во вредно-русском в данном случае стиле.



Выкрашенные в жёлтое приделы очень умело приканчивают и затеняют всё, что было отмечено талантом первого строителя. В XVI веке апсиды собора имели фигуру дородную, а после прибавления ещё двух слева и справа, да пониже, все пять предметов стали просто толстыми бочками, мелкая витиевасть декора приделов отвлекает внимание от редкого приёма – западные барабаны гораздо массивнее восточных (так сделано и в Архангельском соборе Микулина городища, 1550, и не только), что



приклоняет внимание к апсидам как главному месту собора ничуть не меньше, чем подмигивающие почти незаметно кивки порталов. Строители Фёдоровского собора не могли перемещаться по городу такими хитрыми извилинами, чтобы им ни разу не попался на глаза Преображенский собор, они не могли его не видеть, не могли не по-



нимать значения позакомарного покрытия и высоты апсид. Поставить рядом Преображенский собор и Спасскую (Фроловскую) башню Кремля можно, соседство не оскорбит никого. А Фёдоровский собор плоской крышей настолько безжалостно убит, что никому не придёт в голову ставить их рядом с Преображенским, жёлтые приделы



и крыша погубили Фёдоровский безнадёжно, напрочь, его изначальная статность не просматривается, не предполагается, поэтому даже надежды нет, что он когда-нибудь оживёт, отряхнёт налипший мусор и оглядится по сторонам по-молодецки. Всё вместе давно уже напоминает только неряшливую обширную кастрюлю с безобразно вылезшей из-под крышки опарой, вольно и плавно расположившейся на столе к великому огорчению хозяйки. Когда у костюма рукава коротки и голые руки до локтей торчат из обшлагов – надо не удлинить рукава, нет, наоборот, следует топором или ножовкой обработать руки, чтобы подошли к рукавам.

В Фёдоровском соборе гильотинирующий эффект плоской крыши особенно ярок: обкромсавшую серединную закомару крышу можно опустить вовсе до уровня стены, совсем без полукружий закомар, или поднять почти до глав – нельзя сделать ни хуже, ни лучше, всё уже испорчено так, что спасение невозможно, и второй раз убить, лучше убить невозможно, непоставленнная цель достигнута, живой организм побледнел, кровь отлила, дыхание прекратилось. Констатация смерти. Крыша как могильная плита.

В том же Фёдоровском монастыре в здании келий – два окна. Мастерски выполненная кривизна фигурного очелья не оставляет сомнений в сознательном, нарочном характере дискриминации правого от зрителя крыла. Треугольное когда-то очелье тоже показывает, что геометрия испорчена неслучайно: пока сверху ещё нет кладки, заметить и исправить неодинаковость наклона левой и правой «брови» – ми-



нутное дело, пригоршня раствора на одном мастерке и удар молотком. То есть действует правило: прямо плохо, неровно хорошо, потому что нескучно, живо.

Однако же самое живое и неровное – пляшущие колонны переславского ордера в Горицком монастыре. Каждая капитель подпёрта кронштейном с четырёх сторон для укрепления – «руки в боки». Что и было ровно выложено – со временем повысыпалось, облетело, обтрепалось – и задышало, зажило, и полотенчико (скатерть?) можно на продажу пристроить.

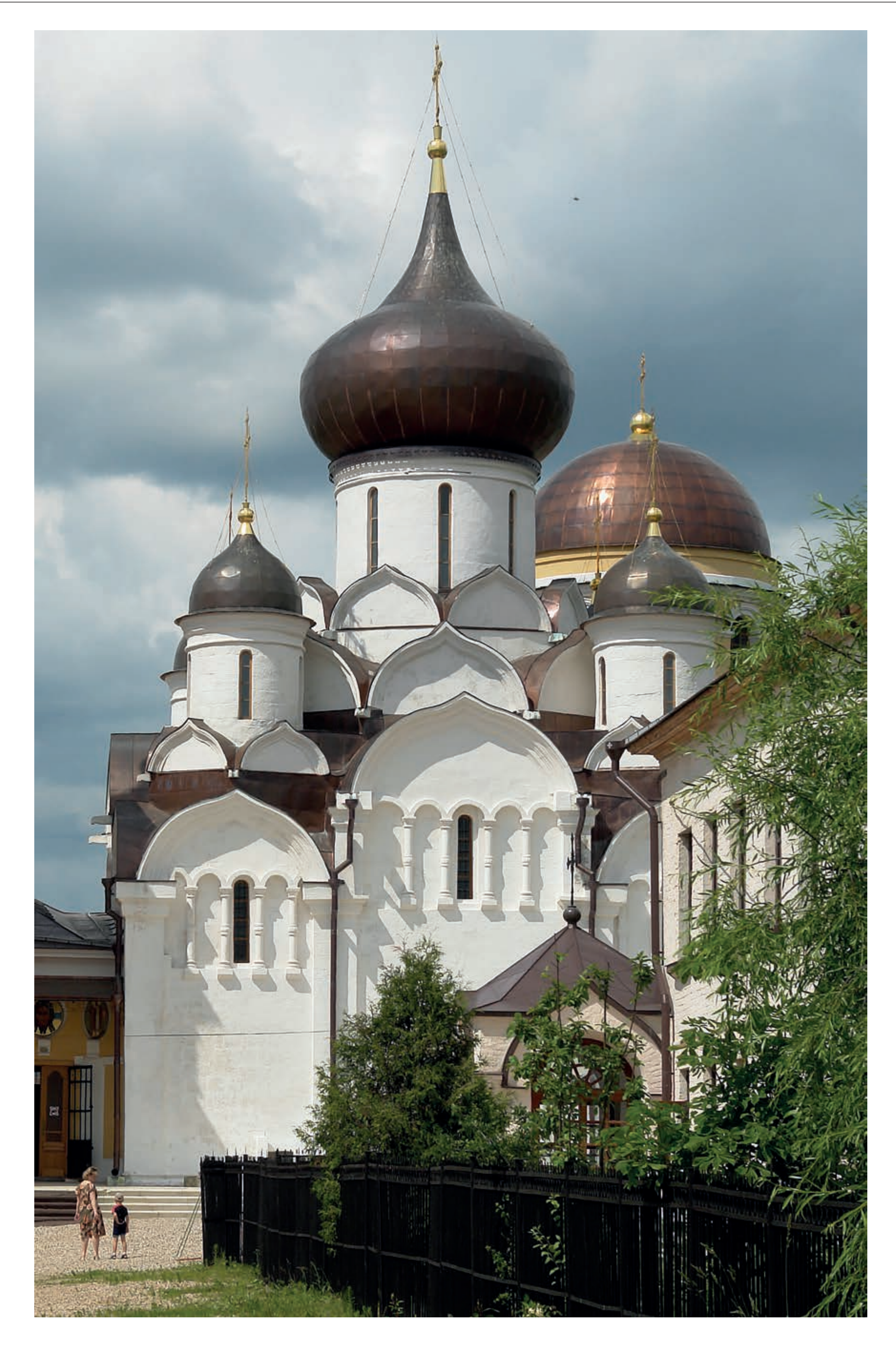
*

Стоящие рядом два изображения одного и того же храма в Старице производят ошеломляющее впечатление – буквально, словно ударили палицей по шлему, надетому на голову, в которой долго ещё гудит. Если время и люди сумели так изуродовать Успенский собор к началу XX века, что его нельзя по фото опознать, то архитектор-реставратор собора если не равен, то уж точно близок первоначальному автору XVI века, он сделал, может быть, и не точно так, как было в тот год, когда родился Иоанн IV Грозный, но точно так, как должно было быть. Стоящие рядом две картинки прочно убеждают: должно быть вот так, как на второй, сегодняшней. Реставратор не «перепридумал» формы храма, он по жалким остаткам, по корням отсутствующих зубов, не удалённых, а отломанных при прежних восстановлениях и поновлениях, проник не просто в логику автора, реставратор силком уподобился



Успенскій соборъ Старицкаго монастыря.—1530 г.
(Фот. Ѳ. Ѳ. Горпостаева).

автору и стал даже немножко лучше него, как хороший редактор или научный руководитель понимает автора лучше него самого и помогает внятнее выразить авторскую мысль, он (реставратор) сотворил то, до чего ещё не додумалась научная стоматология – из корней вырастил новые родные зубы, чистенькие, ухоженные, защищённые. Время набросит патину, аромат новизны выветрится, а главное спасено, вся ловкость строителя явлена миру опять, любуйтесь, наслаждайтесь, учитесь.



Надо признать, есть чему учиться и чем любоваться. Образование формы, вероятно, всё-таки падает в голову автора с неба, но его роль тоже есть – он услышал. Авторскую запись нот для мелодии можно хоть урывками и кусочками разглядеть. Общее, аккордное впечатление – много, крупно, множественное, толпой, живое, тёплое, почти шевелится, есть движение, прямо-таки ощутимое под рукой, как младенец в утробе на восьмом месяце. Неважно, откуда начинать смотреть – отовсюду. Большие куски

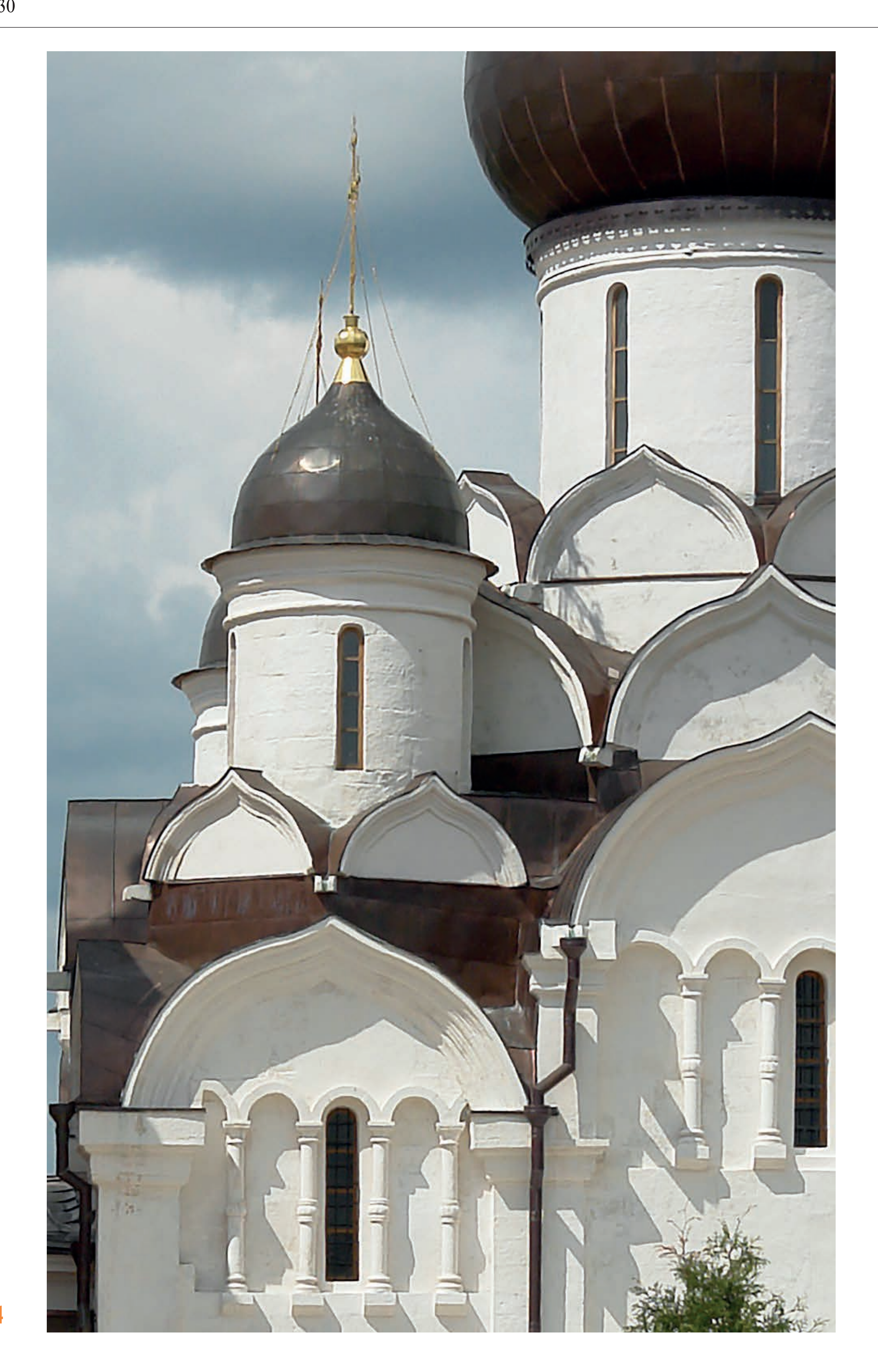
формообразования падают со всех сторон, и не проглатываются, не подавиться бы. Три апсиды, покрыты почти четвертьшарием, то есть отрезана и выброшена сначала нижняя половинка шара, потом от оставшегося отрезана и выброшена задняя половинка полушария, та, что не видна. Покрыто медью, ждём, когда окислится, позеленеет до купороса. Не в меди и не в округлости дело. Над округлостью – короткий лоток свода с накрывающим кокошником, который вплотную примыкает к покрытию апсиды. То есть переход к сложному, как рытый бархат, покрытию четверика устроен с избытком, не жалея, с образованием неочевидного элемента, ненужного ни конструкционно, ни «для красоты» – а получилось и невиданно, и неслыханно, ну ровно платок, надетый на женскую головку, да ещё надо лбом спряталась пышная причёска. Камень вне скульптуры не может быть антропоморфен? Точно не может? А здесь? И дальше выше эти платочки умножились и завертелись в разных поворотах.

Следующее чудо – как повернуть круглое? Чтобы понять, надо не увидеть, а услышать. Круглое – зачем поворачивать, оно же круглое? Но ничто не потревожит ум, если сказать, что барабаны малых (угловых) глав повёрнуты на 45° по отношению к стенам четверика, хотя щели их окон по-прежнему смотрят по сторонам света. Повёрнуты только их основания с тремя кокошниками. Четвёртого нет, потому что некому смотреть от центра. Тут мы подобрались едва ли не к главному. Каждый из многочисленных платочков-кокошников образован более или менее продолговатым лоточком донышком наверх, его маленькая округло-треугольная плоскость отстоит от того, к чему примыкает, она отодвинута или выдвинута к зрителю с небольшим подвышением, чтобы припрятать сам лоток. Тот, кто так делал, знал, чего добивался. Даже дыхание наблюдающего человека немного колышет его голову. Когда человек шевелится, например, во время движения, и смотрит на храм, платочки начинают шевелиться тоже, тени умножают, продолжают это движение, «отстояние» контрастных кокошников делает подвижность постоянной, даже если зритель замрёт – тень движется сама. Так здание начинает шевелиться всегда, то есть жить всегда, гора становится живой, подвижной. Про четвёртый кокошник у малых глав никто и не вспоминает, он не нужен, а следующие два кольца кокошников всё время немного загорожены малыми главами с барабанами, немного «выглядывают» из-за них. Зритель временами не видит часть или части кокошников, но верит, что они там есть: так образуется невидимая, но прочная связь, стягивающая всю верхнюю часть к центру, как пирамиду или шатёр.

Поворачивая круглое, надо не забывать думать о том, что не должно закружиться. Юго-западная малая глава производит впечатление симметричного ровного бочонка. Вот чего тут нет, так это симметрии. Ни стереоскопическое зрение человека, ни сколь угодно обширная матрица или стекло (плёнка) за линзами объектива не могут увидеть два противоположных окна в барабане, если они расположены по диаметру. А мы видим. Значит, хотя бы одно сдвинуто к зрителю, приближено к нему, и это скорее всего восточное окно: когда утренний свет обогнёт соседний восточный барабан и главу, луч света дольше будет освещать внутреннюю стену барабана, не скрадываясь толщиной кладки. Впрочем, может быть, это просто глупое предположение невежды, и объектив при помощи дифракции или интерференции умеет отражённым светом немножко огибать объект, чтобы разглядеть его со всех сторон, а окна расположены идеально ровно.

Но вот с южным фасадом ошибок нет и быть не может, тут нас ни волны, ни корпускулы не собьют. Расположение деталей доказывает, что никакого равенства в природе нет. Эта истина в XVI веке была известна не хуже, чем в XXI-м. Более того, неравенство полезно. Фасад не был бы таким, каков он есть, если бы восторжествовала симметрия и умение делить отрезки на ровные части. Перспективный портал





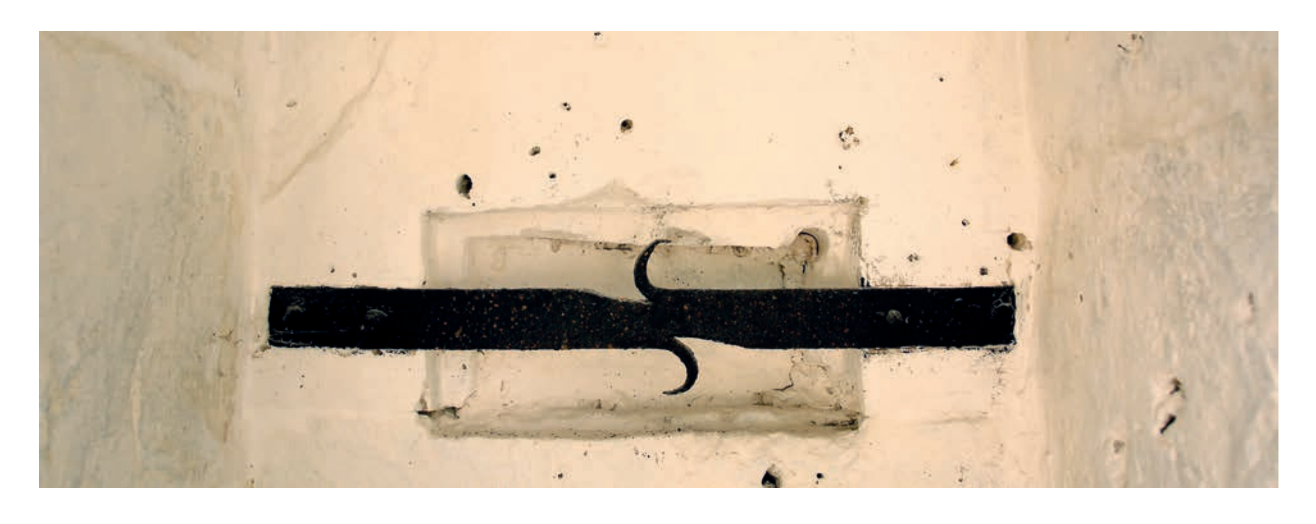
сдвинут вправо – ладно, мало ли зачем понадобилось. В каждом из трёх прясел стены – четыре колонки и почти пять арочек. Три центральные арки везде одинаковы, а крайние – все разные. Все четыре колонки все три раза стоят строго не посередине, западное и центральное окна сдвинуты вправо от оси каждой закомары, а на востоке налево; шесть крайних простенков между колонками слева и справа – разной ширины, из-за это и остатки крайних арок имеют разную кривизну. Эта вопиющая асимметрия устроена великим мастером, который понимал, что сбой ритма создаёт больше динамики, чем унылое повторение, фасад, так же, как и завершение здания, оживает, на глазах начинает двигаться, шевелиться, меняться и подрагивать, как шкура лошади, которая стряхивает волной противную муху.

А ведь таких было ещё два – фасада. Западный и северный. Пусть те люди, которые пристроили варварское крыльцо на западе и безобразное здание на севере, были ослеплены неописуемым горем от утраты родственников, пусть богатство им помогло облегчить боль путём строительства церкви над могилами. В результате их трудов сегодня мы наблюдаем ровно половину архитектурного шедевра. Они запретили потомкам смотреть на изумруд слева. Всем поколениям, отныне и до века – только справа. Смелая и безвкусная глупость увековечена, приговор не отменён, позором фамилия покрыта навсегда, их ничтожество тревожить нельзя, потому что «так исторически сложилось». Пожалеть бы их, снять проклятие, беззвучно произносимое каждым, кто видит вместо северного и западного фасадов жалость жалобную. Надо проявить милосердие, хотя бы вспомнив о фундаменте Ферапонтовской церкви в можайском Лужецком монастыре – он весь собран из надгробных камней. Уже и церкви нет, а камни – лежат. Вот это – достойно. А убожество, подпирающее шедевр – нет. Что же, убирать?

Да, помолясь и попросив прощения, аккуратно разобрать и переставить на пустое место неподалёку после всевозможных разведок и испытаний, чтобы не попортить и то, и другое. Могилы не трогать, не тревожить. Для этого нужны всего-навсего деньги и решение. После этого судьба и города, и монастыря переменится – трудно жить, когда старое нездоровье давит на всё.

*
*

Собака, которую Вы заинтересовали или озадачили, сначала просто посмотрит в глаза, добиваясь разъяснений, коротко всплеснёт хвостом в одну сторону, передавая, транслируя для тугодумов короткий вопрос: «Ну?» Потом ещё раз долго посмотрит в глаза, ожидая хоть чего-нибудь, и правильно настроит уши, проверяя, не пропустила ли она чего-нибудь. Если собеседник ей попался несообразительный, для доходчивости она, не меняя оси взгляда, повернёт голову градусов на двадцать,



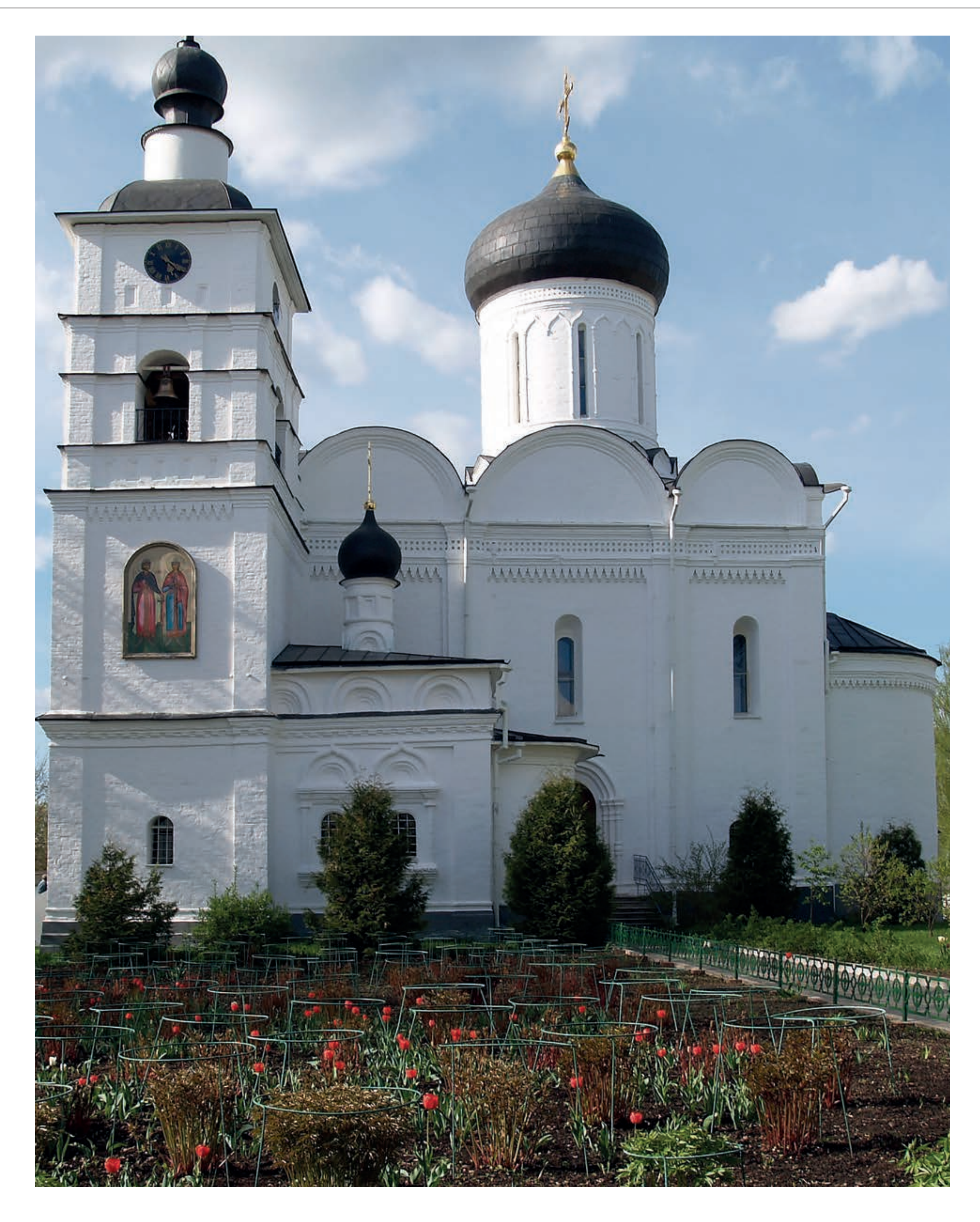


чаще по своей часовой стрелке, но бывает, что и против, и тогда уже умное личико морды становится нестерпимо умильным, а взгляд – немного укоризненным, к «Ну?» прибавляется «Что же ты?».

Человек, приходящий к Вам в дом, чем-то уже заинтересован, иначе бы не пришёл. Или просто привык сызмальства, с тех лет, когда водили и не спрашивали, интересно или не очень, тогда интерес заменён привычкой, протоптанной тропой. При встрече его, пришедшего, да и любого, хочется расположить к себе, сразу повернуть к себе той стороной, которая у него не колючая, не для борьбы и выживания, а приспособлена для общения с близкими добрыми людьми, причём не взяв за плечи и скомандовав «А ну!», а так, чтобы и не заметил, что к нему уже отнеслись не как

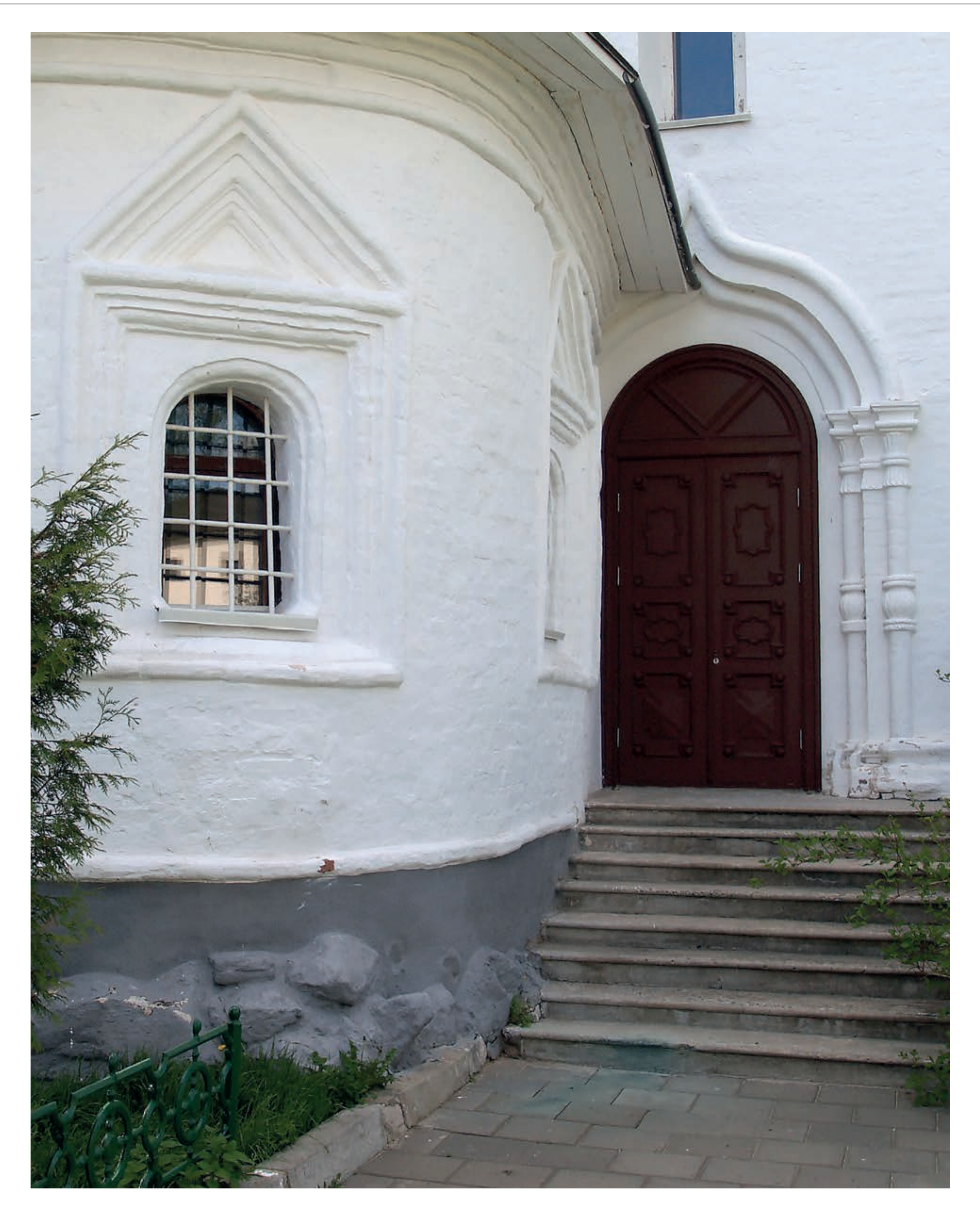
Звенигород. Портал дворца царицы. Столбик под правым орлом приподнят (середина XVII века)





к атмосферному явлению или столбу, а с приветственно раскрытым сердцем, с улыбкой, с молчаливым поощрением и благодарностью: «Как хорошо, что зашёл!».

Р. Быков в «Чучеле» для зеркального, наоборот отражения этой приветливости поставил у входа в утреннюю школу пугало в лице директора обоего пола; когда приходит сын или дочь, которых не видел целый (страшно подумать) день – только какая-то страшная мутная пыль в голове может стереть улыбку и опустить руки, поднявшиеся для объятий; правильно и нормально – обнять, поцеловать, накормить и выслушать, позволив отдохнуть. Неестественно – противоположное, должно быть именно так. Вечная схватка – для драчунов, у которых мозг стёк в кулаки. Домов, которые так приветливо выстроены и настроены – не сосчитать, потому что это нор-



мально – так строить. Но таковы не все, некоторые споткнулись о короткое словечко «как?», какие детали и способы помогают создать нужное настроение. Самый правильный ответ – самый короткий: все. Все детали по отдельности и всё скопом влияет на общее впечатление, но есть часть каждого здания, которую не минуешь – вход. Двери тоже важны, их тоже можно изуродовать или разукрасить, но как только они открыты для входа – их не видно, пропали. То, к чему они приделаны, заметно всегда. Чтобы пугало из «Чучела» не огорчало всех входящих своим неизменным постоянством, уже обрамление, рама для дверей должна обладать приветливым характером, некоторым добродушием в прямом смысле слова, как собака, свернувшая набок голову с острыми ушами, вслушивающимися в то, на что глядят её глаза.



Неправильное положение
куста в стене Рождественского
собора Медведевой пустыни



180°



Правильное (перевёрнутое)
положение куста

Положение куста в стене
Троицкой церкви в Чашникове







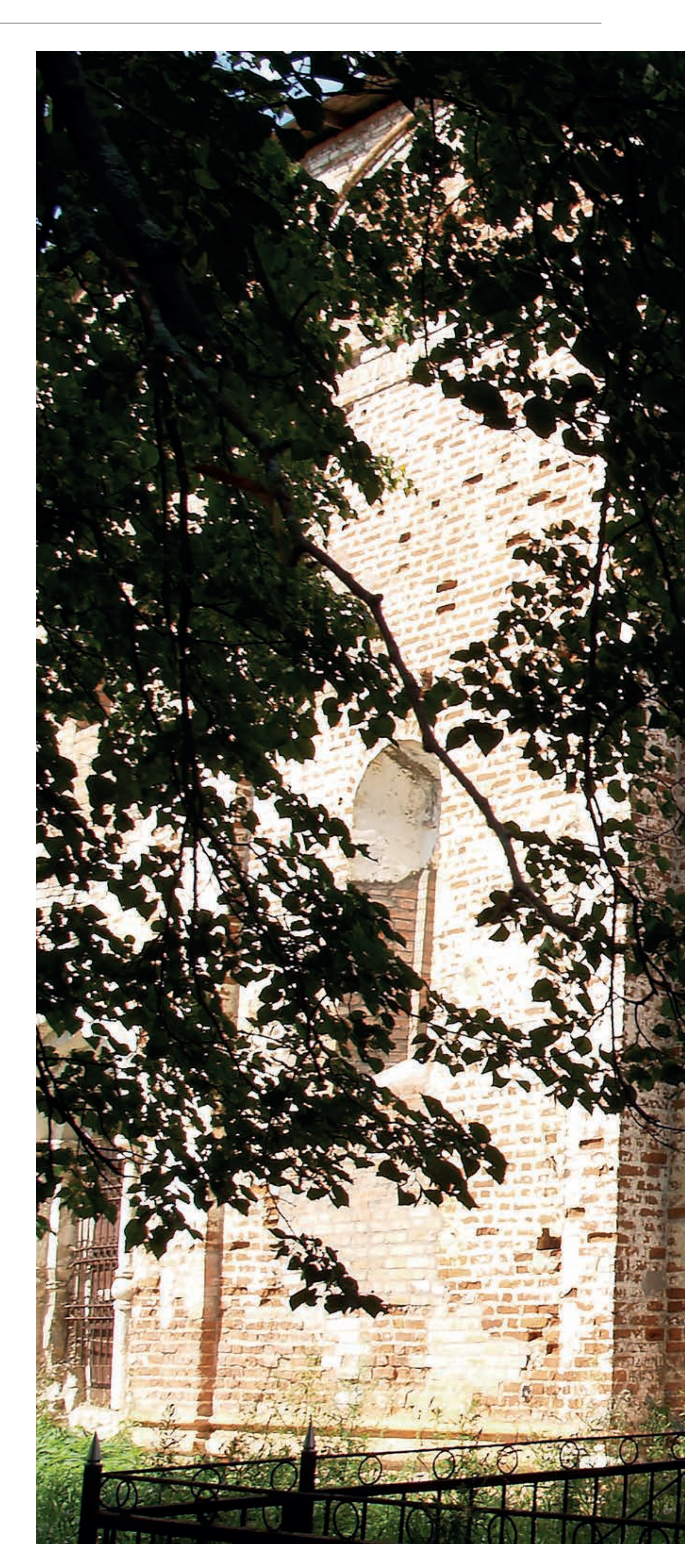


Сосчитать все придумки в этом направлении невозможно, тем более исчерпать их список, потому что каждый день появляются новые. Однако же есть одна, и немолодая, которая работает упрямее других, потому что очень малозаметна. Настолько малозаметна, что и доказать её существование не так-то просто, всегда можно сказать, что комбинация угла, оптики, света, временных разрушений и умонастроения смотрящего лишают доказательной силы любые рассуждения и аргументы. Пожалуй, что и так.

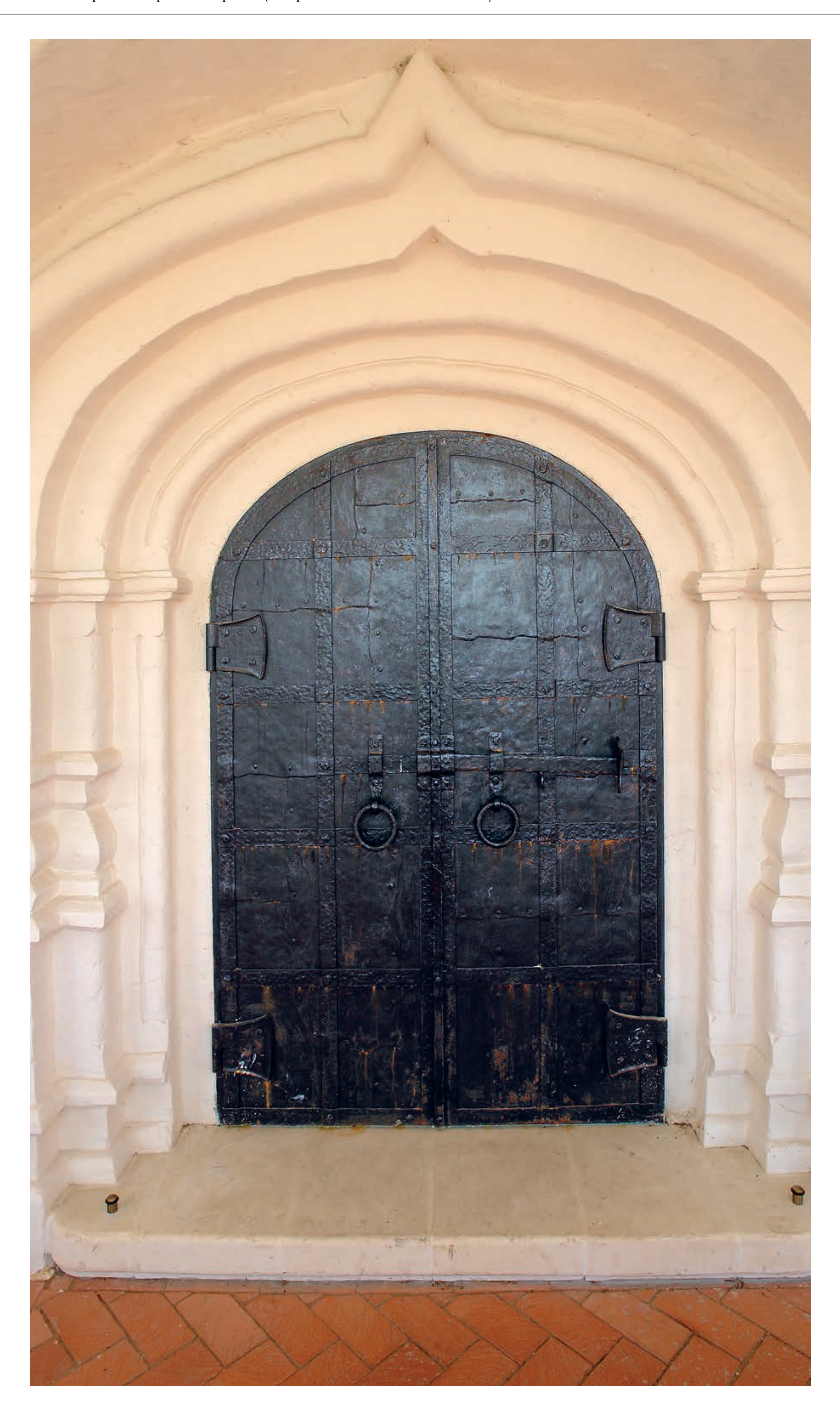
Пусть всё нуследующее будет субъективно, бездоказательно и произвольно. Но предположить-то это можно.

Тем более что некоторые доказательства бесспорны и наглядны. Все порталы несимметричны, и не только потому, что слева и справа разное число молекул камней. Западный портал Архангельского собора московского кремля на первый взгляд состоит из одинаковых левой и правой частей. Второй взгляд замечает большие различия в рисунках резьбы, в деталях и даже в направлениях разворота растений. Если дать себе время и труд сравнить левую и правую части, спор пойдёт уже не о наличии симметрии, а о количестве различий – сотни или тысячи. Согласившись с тем, что части разнятся в деталях, но производят одинаковое (симметричное) впечатление, смирно, без возражений согласимся и с тем, что верхняя дуга содержит коричневый рисунок по синему (в основном) фону, в котором различающиеся подобные элементы расположены на разной высоте, справа от зрителя – пониже, слева – повыше, одно плечо повыше, другое пониже.

Немного позже Архангельского собора, в первой трети XVI построен собор Медведевой пустыни









и Дмитровский Борисоглебский. В пустыни у собора три портала, один вслед за трещины в стене имеет неопределённую геометрию (но верх наклонён влево), а у двух других плечи на одном, кажется, уровне, а вот верхушка – как-то, как будто бы, может быть, не исключено, что чуть ли не наклонилась направо. Тень, солнце, точка съёмки – всё надо учитывать. Но всё же... Какая-то хитреца в этих приветственных взглядах появляется, когда приглядишься. В Борисоглебском соборе Дмитрова игрушечный, почти из пластилина детскими руками слепленный придел XVII века загородил половину портала, но и по остатку можно судить, кажется, о кривизне (на сей раз налево) верхушки портала, но тут определённости меньше.

Серпухов. Введенский монастырь. Северный (Алексеевский) придел Введенского собора. Портал (середина XVII века)



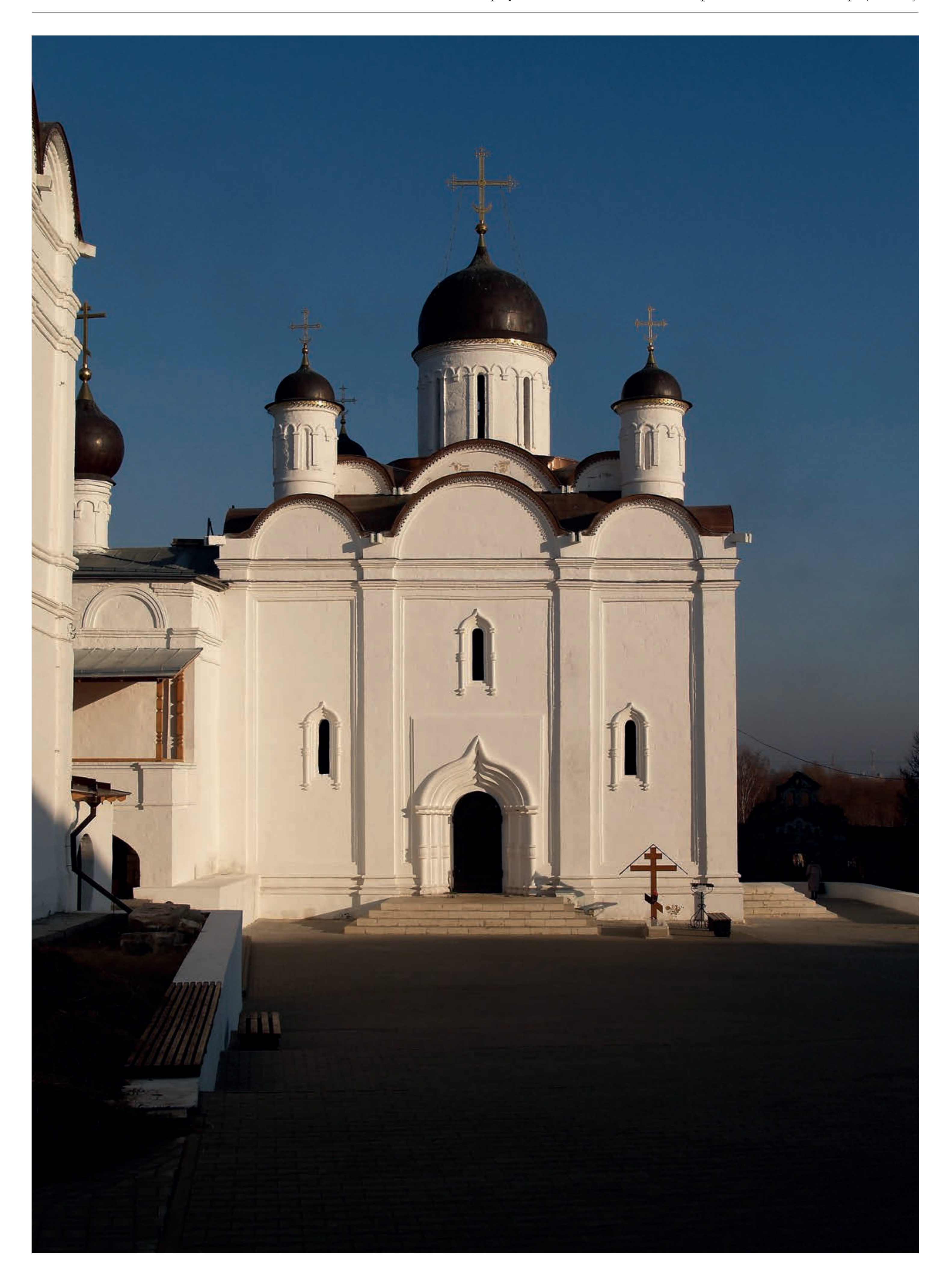






Серпухов. Введенский монастырь. Введенский собор. Западный портал (≈1600)





Серпухов. Введенский монастырь. Введенский собор. Окно на юге (≈1600)







В волоколамском Воскресенском соборе второй половины XV века обе части порталов вроде бы и ровные, но правая смотрится как более худосочная, справа то овал попрямее по эту руку, то валик потоньше, то ещё что-то подозревается. Но в целом – скорее прямо.

В Саввино-Сторожевском мужском монастыре портал женского дворца украшен тонкой резьбой с похожей особенностью: в правой от зрителя части кокошника рисунок опущен ниже, чем в левой, хотя оба орла сидят на одной высоте. Третий орёл, одноглавый, имеет заметно более субтильную конституцию, крылья не напоминают, как внизу, лопухи, скорее можно в них заподозрить известное изящество, самой природой назначенное для обладательницы этого дворца, а не того, что стоит напротив, за собором. Это, конечно, шутка (не лишённая отчаянной смелости – всё-таки герб), рассчитанная на невнимательность или снисходительность, а рисунок кокошника – опять опущенное плечо, опять правые детали ниже левых.

Годуновский Введенский собор в Серпухове строили очень умелые мастера, что такое «прямо», они знали не хуже позднейших реставраторов, как хорошо видно по восстановленному окну без штукатурки и побелки. В порталах собора тоже всё вроде ровно, но порченный глаз норовит отыскать ну хоть какой наклончик, чтобы теория получила подтверждение, но и тут, как в Волоколамске, утверждать трудно. Хотя глаз, как будто, не очень-то и испорчен. Наклона если и нет, то он очень убедительно видится и в порталах собора, и в портале позднего придела XVII века. Придельный портал доказывает, что в XVII веке склонность к наклону сохранилась (конечно, не всегда, не везде – попадается). В Батюшкове порталов, как и положено, три, и все с некоторой готовностью скривиться.

Сознательное, упорное и последовательное бегство от симметрии (что само по себе свидетельство художественной зрелости, взрослости архитекторов) проявлялось с тем же упорством не только в порталах, но и в блоках фасадного декора вокруг окон. Одно из самых ярких решений – окно Святых ворот Переславского Горицкого монастыря. Приезжий, уже привыкший к архитектурной пестроте восточных (ныне главных) ворот монастыря с колоннами переславского ордера, не сразу вычленит в кирпичной вышивке южных ворот многообразие и разновеликость составных частей. Само окно сдвинуто вправо, поэтому гнуть очелье наличника направо ни к чему, простенок сам из-за окна подвинулся и уменьшился, как и правый кокошник, часть воздуха из него перетекла в большой левый. А всё вместе по-прежнему, как и до понимания разницы частей, цельно, ровно, аккуратно, живо и весело – чего и добивался строитель с великим умением и самыми простыми способами.

Может быть, и в самом деле, наклон у верхушек порталов только мерещится, и они стоят прямо, как палки. Но тяга подмастерьев каменных дел к асимметрии и их склонность к баловству заставляет при встрече пристальнее и дольше присматриваться к порталам, подозревая временами то, чего и нет. Сомнения то одолевают, то отступают, но чаще, кажется, всё-таки наклончик есть, и восточные закомары над стенами (например, в Даниловом соборе Переславля-Залесского) меньше западных. Под победительной плоской крышей заметить это трудно, ночью все кошки серы, но когда правильное покрытие восстанавливают, у всего здания появляется лицо, смысл. Нельзя насладиться ликом Элеусы, когда на лицо надвинут капюшон офицерской плащ-палатки до подбородка и ниже, можно только верить, что когда-нибудь откроется.



Бывший (до М.Д. Быковского) внешний портал северного придела Преображенской церкви явно и недвусмысленно подмигивает и прямо-таки размахивает головой в приглашающем жесте – это уже не кажется, это настойчиво сделано.

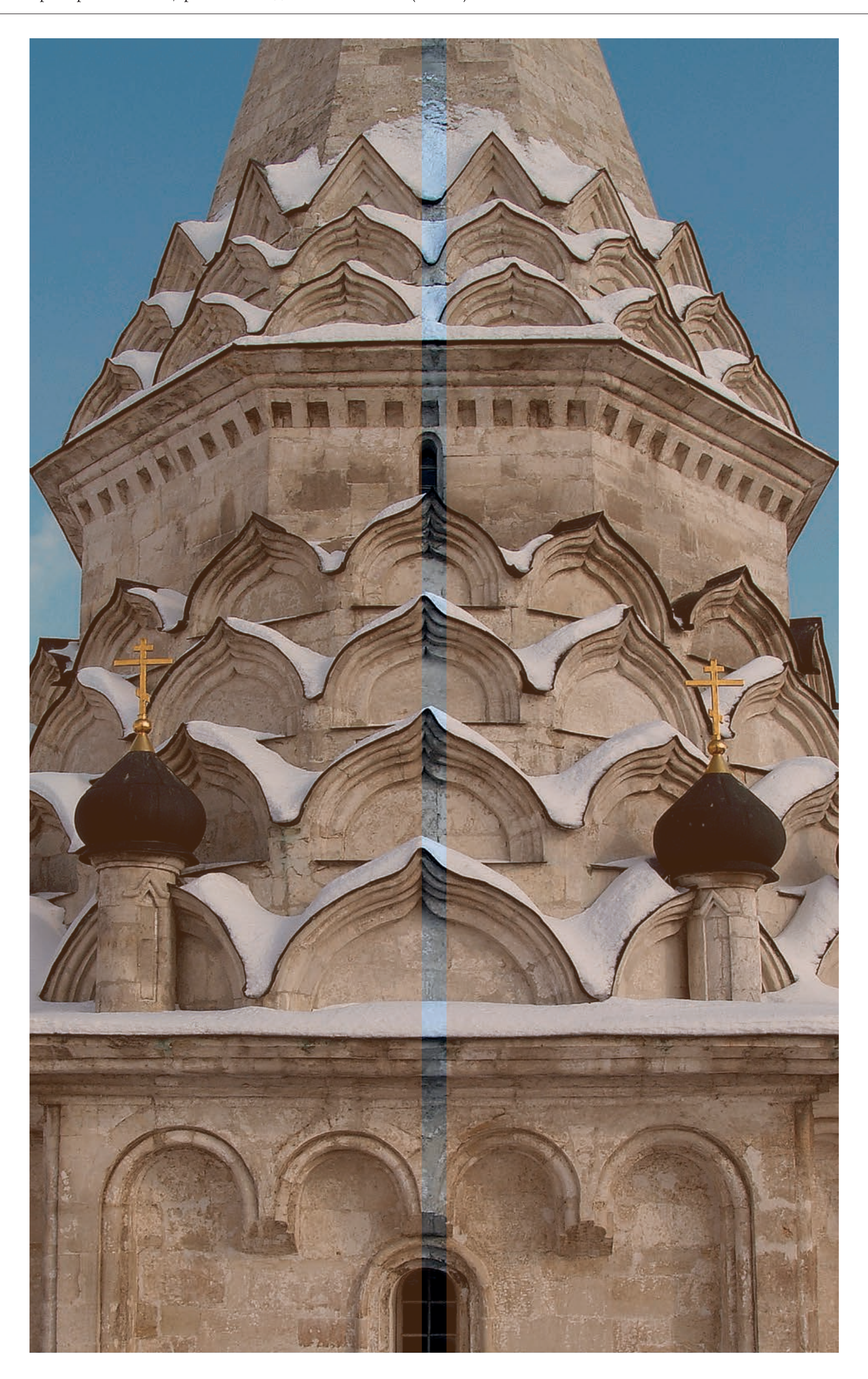
Больше того, весь набор больших кокошников островского шатра не свободен от колебаний вертикали, все, кто налево, кто направо – но это выглядывание одного из-за другого становится заметно, только когда через их оси провести вертикальную линию и проверять себя вновь и вновь, несколько раз – а не чудится, не мерещится ли?

Конечно, любой архитектор улыбнётся и каждый строитель расхохочется: колебания от прямой в пять или даже десять сантиметров – обычнейшее дело на стройке, особенно когда речь идёт о линии длиной в несколько метров. Оно, пожалуй, и верно, когда бы внизу не было порталов, где кривизна нарочита и специально устроена, не оттого, что материал повёл туда, куда всё пришло, а как задумано, так и сделано, чтобы добиться результата. Каков же результат? – Никто не замечает, а портал работает как добродушный и усердный привратник, встречая и провожая каждого вошедшего и снабжая его, хочет тот или нет, приветственной ободряющей улыбкой. В порталах есть и ещё одна черта, которую можно попробовать понять. Порталы эти именуют перспективными и килевидными. Киль перевёрнутый, перспектива имеет метровую в лучшем случае глубину, и ступенек в нём чаще всего не больше пяти, не считая уровня стены. В молитвенно (или умоляюще) сложенных пальцами кверху руках тоже по четыре пальца с каждой стороны образуют подобие треугольника, в той или иной степени остроугольного. Тот, кто строил портал, кто делал проектный чертёж, вряд ли держал в голове образ перевёрнутой лодки или глубокомысленно устремлял мысленный взор в перспективную даль, а вот просительно сложенные руки могли повлиять на образ.

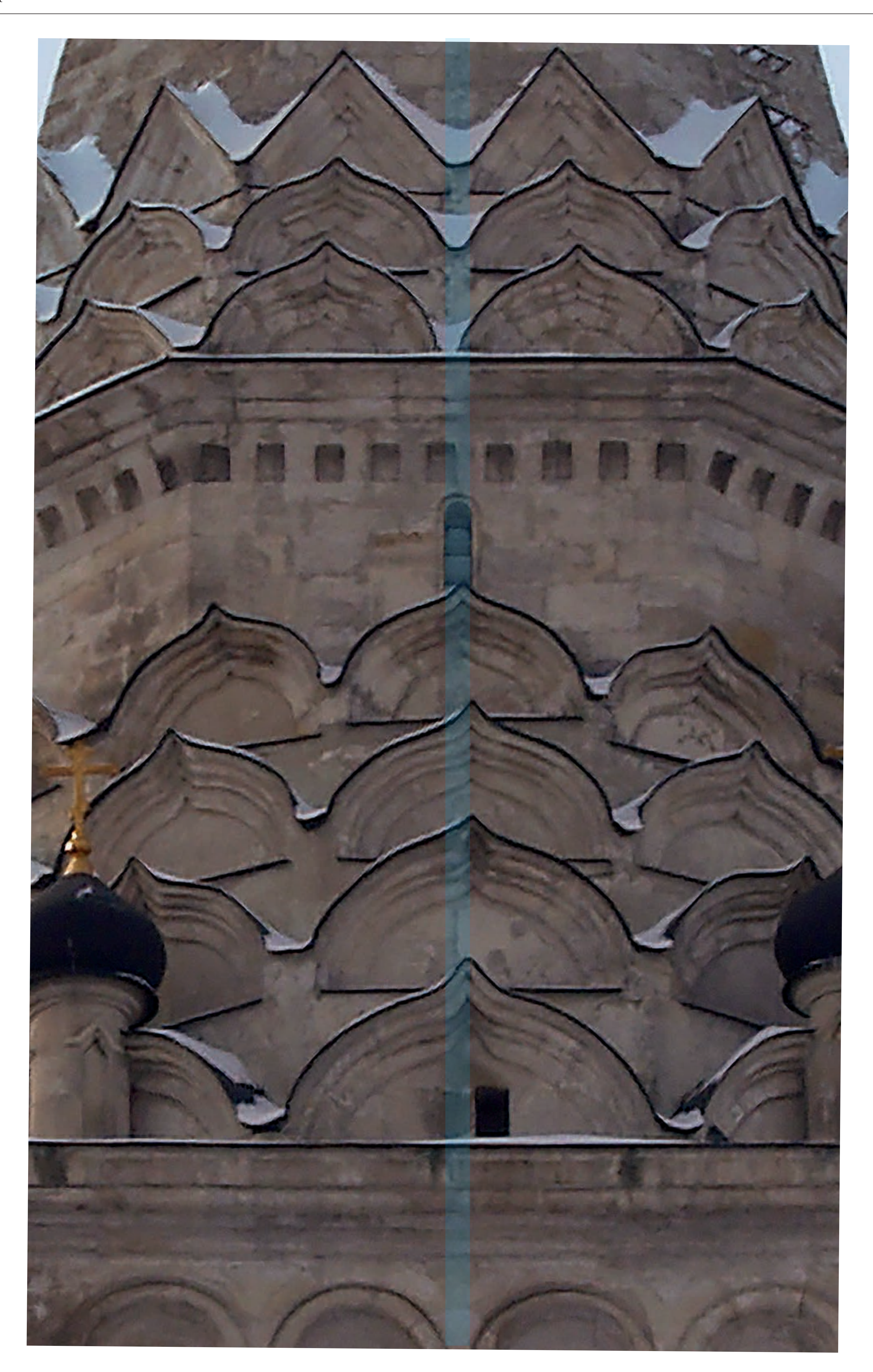
Поскольку строитель не хуже нашего знал, что человеку свойственно ошибаться, он и не стремился к идеальной правильности, больше того, чтобы было по-человечески, надо сделать чуть-чуть неправильно, неровно, несимметрично – чтобы содрать пафос с собора или церкви, сделать его или её не нависающей со всей прямотой и регулярностью, а весёлой, не без баловства, с улыбкой, когда и где можно. Уж если удастся приветливо помахать рукой тем, кто пожелает заметить, – это самое удачное. Не исключено, что и с кокошниками случилось так же. Во-первых, материал действительно ведёт – камень не так-то просто обработать, даже известняк. Во-вторых, когда есть понимание, что важно, а что и не очень – можно увеличить припуски и допуски, и не убиваться над соответствием эталону. И в результате никто теперь не может доанализировать свои собственные ощущения от церкви Преображения до твёрдого понимания, что откуда берётся, из чего проистекает и на что влияет. Скорее – неотменяемая действенность и сила волшебства, колдовста и чародейства на крошечную долю всё-таки объясняются покачиванием кокошников. Неразличимое, по неизвестной причине появившееся, несуществующее движение, пошевеливание, хоть на кажущиеся два сантиметра, хоть на половинку – оживляет церковь уже много сотен лет, заставляет это пламя трепетать в снегу и в цвету.

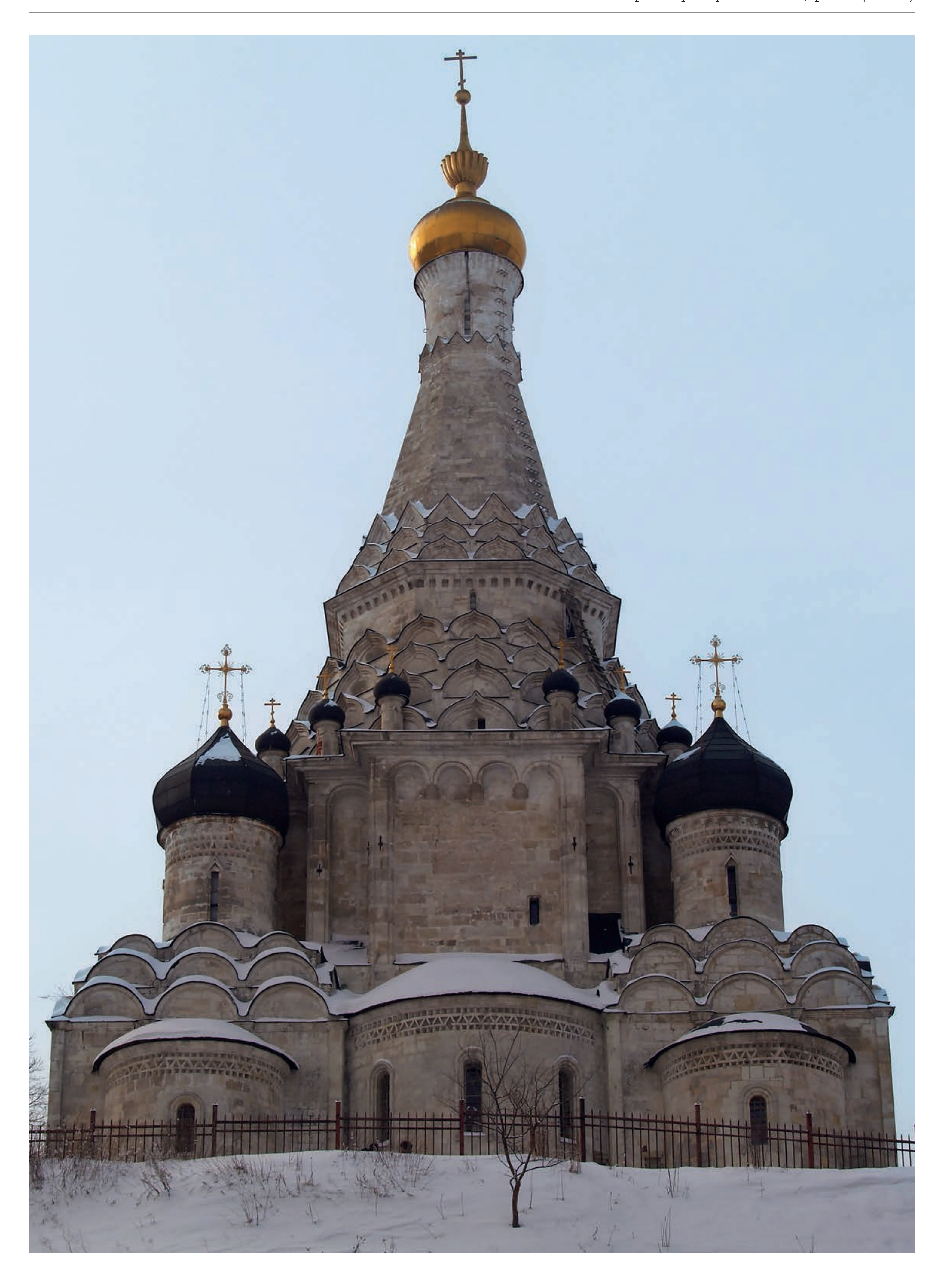
В.В. Кавельмахер не нуждается в подтверждении или усилении его аргументов в пользу окологодуновского времени создания Преображенского храма в Острове – потому что они исчерпывают тему. Но к насыпанному кургану можно принести свою горсть, даже зная, что он не станет выше. На схожесть Преображенской церкви в Острове и Богоявленской в Красном-на-Волге обратили внимание давно, так как она, схожесть, бросается в глаза: шатровый центр и два придела. Не меньше этого ясно, что по совершенству Преображенская стоит много выше Богоявленской, но вот чем определяется высота – не всегда объясняется. Богоявленская церковь датирована неоспо-





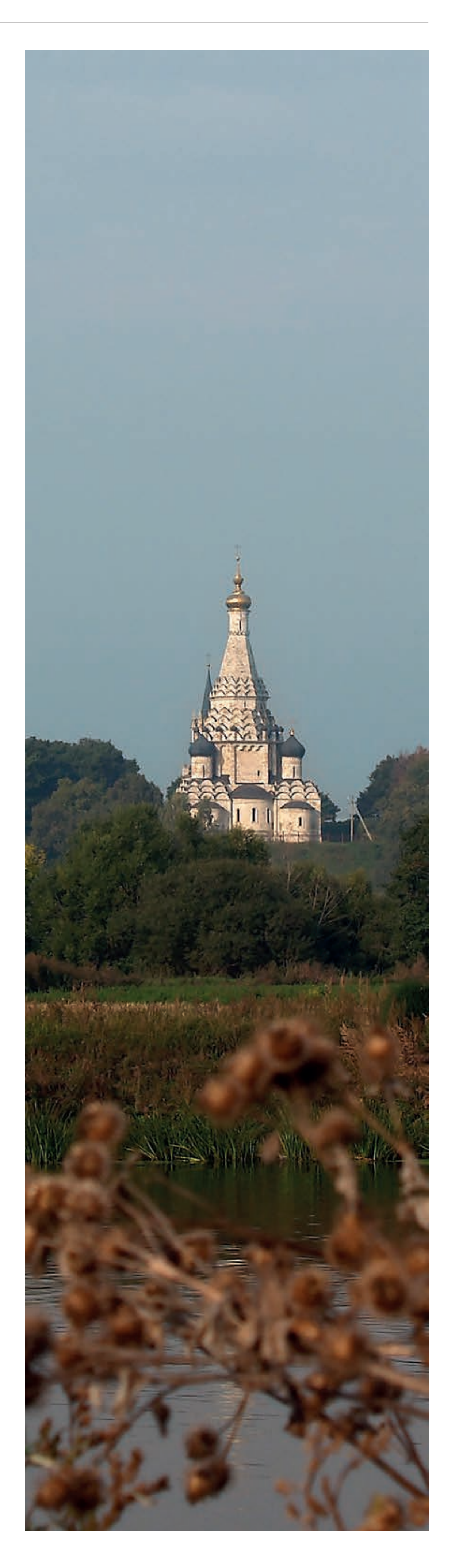


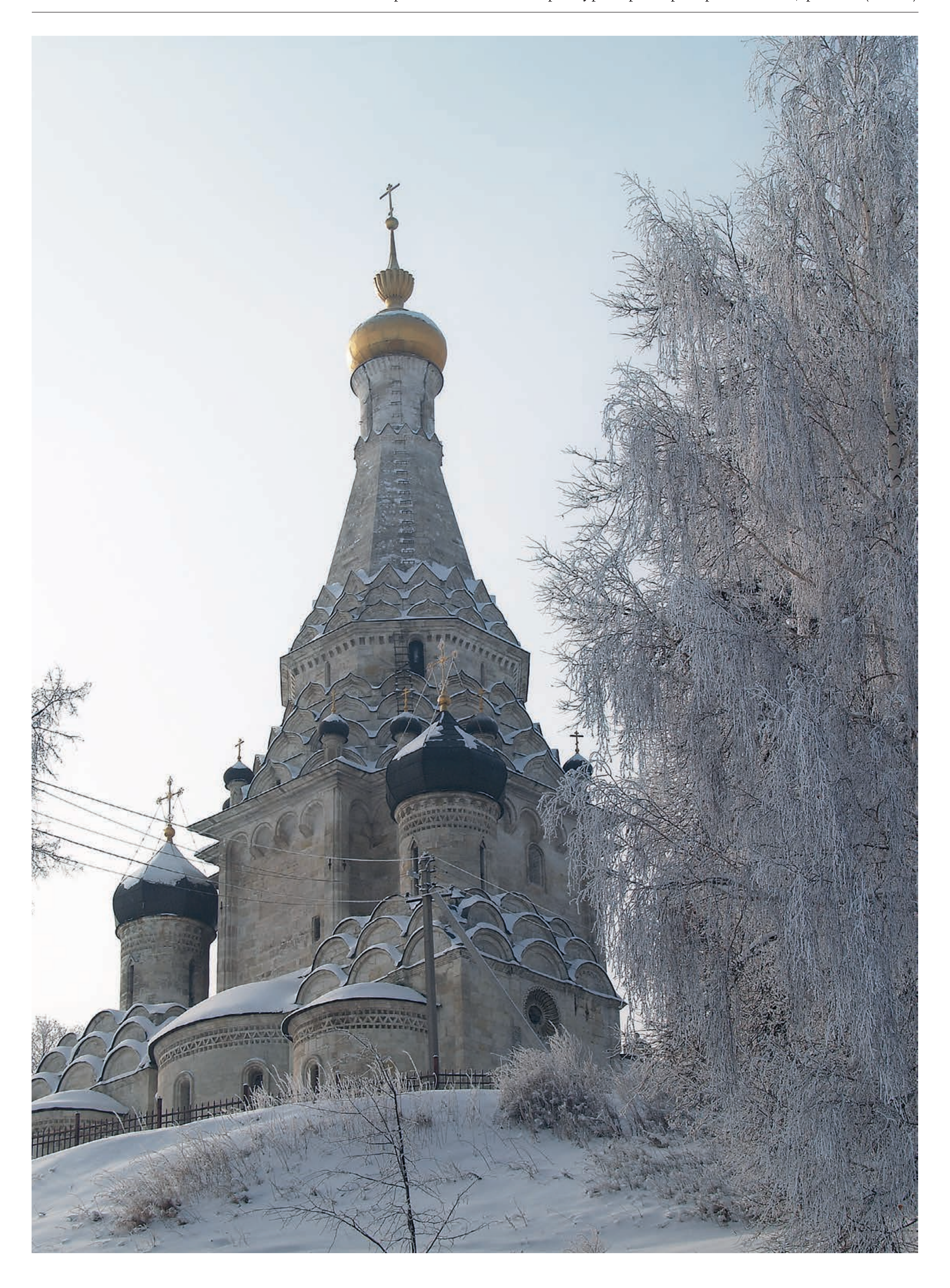




римо: 1592 год, стилистически ничто не противоречит её датировке, пять апсид почти в рост четверика, окна не прорублены в камне топором, а прорезаны ножом, красота рождается не из украшений (декора), а из самой формы, образованной сочетанием рядов кокошников, вырастающих в острие копья-шатра. Главное удивление – почему она не падает, ведь распирающее давление всей массы, стоящей на четверике, огромно, а ни контрфорсов, ни аркбутанов нет и в помине, всё снаружи стройно и лаконично, подпирающая роль приделов на востоке ничем не подкреплена на западе. Хитрость применена почти египетская (пирамида с изломом граней): восьмерик, почти равный по высоте шатру, (опять же почти) не сужается кверху, бочка давит скорее вниз, чем вбок, достаточно хорошо обвязать. Отсюда осталось полшага до приёма, применённого в Острове – там очень большой шатёр, видимый снаружи, изнутри становится ещё выше, потому что начинается ниже (немного похоже на тросы в Останкинской башне). Кто строил Преображенскую церковь – мог использовать опыт Богоявленской. Богоявленские же строители Преображенскую не видели – иначе бы переняли навыки и идеи, их ведь не удержишь ни законами, ни запретами, да и авторское право в XVI веке ещё не поселилось ни в какой голове, потому что они (головы) были другим заняты, более важным: красота не в одежде (декоре), а в том, что под одеждой. Апсиды приделов Преображенской соотносятся с апсидой центральной части, они задают высоту, а в Богоявленской придельные вторят центральной, которая «ведёт за руки» левую и правую, выдвигаясь вперёд, все пять штук – главные в нижней части восточного фасада.

В Преображенской главные – не апсиды, а сами приделы, они подпирают центр могучими плечами. Несмотря на изобилие кокошников (пара сотен, сосчитать точно никто не возьмётся), на очевидные итальянизмы (раковины-окна) и псковизмы (бегунец и перевёрнутые ласточки над окнами), на изощрённую хитрость конструкции и украшения разными способами – всё вместе производит впечатление не более простого, но более цельного силуэта, букет составлен не из попавшихся под руку случайных полевых цветов пуком, а опытным флористом, раздумчиво и не спеша, зная, на какое именно впечатление он рассчитывает и какого добивается, от первого камня до главы (с которой, кстати, пора наконец снять глупую вазочку под крестом, невесть когда туда примостившуюся).

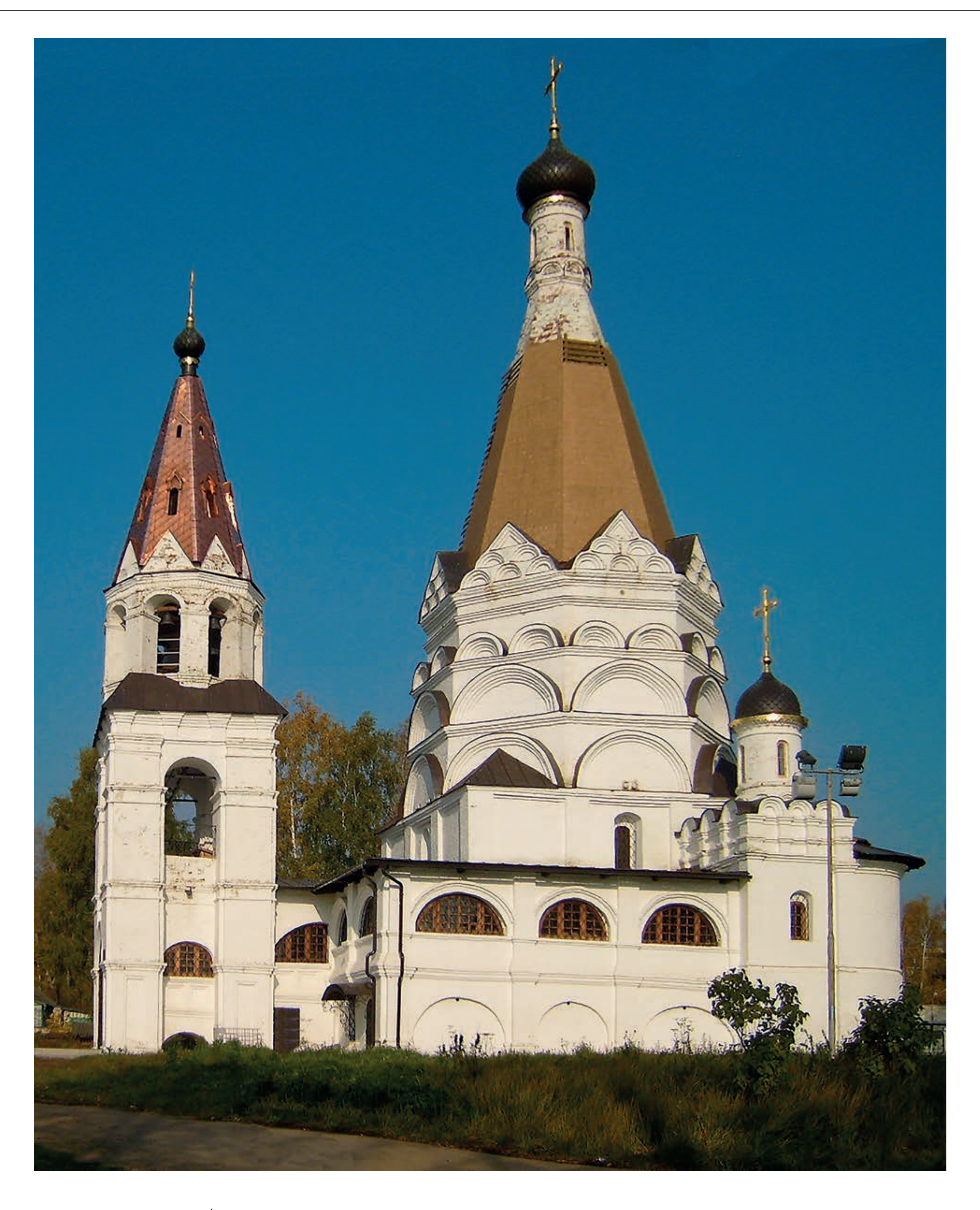






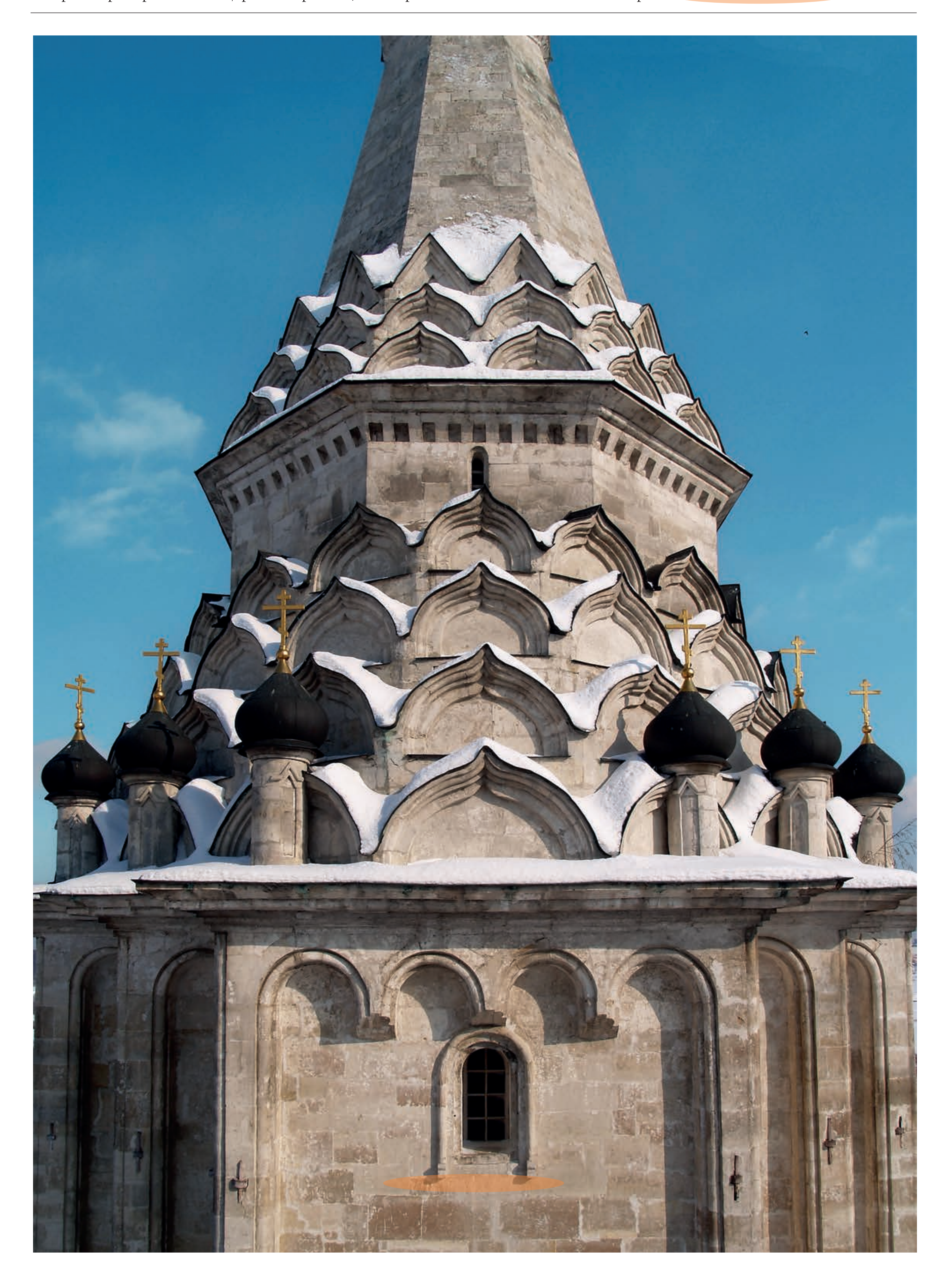
Видели строители творения друг друга до того, как начали строить, или не видели – совсем не важно. Проще предположить, что не видели. Если их (не строителей) взять нежной рукой за маковки, осторожно поднять и поставить ненадолго на один холм рядышком – нет сомнений, какая раньше, какая позже. Датированная бединская церковь ближе всё же к Богоявленской, чем к Преображенской, хотя и стоит неподалёку.

Уже шла речь о том, что в Преображенской церкви использован не самый обычный способ противодействия разваливающему действию тяжести каменного шатра: видимый с улицы после огромного каменного выноса карниза четверика шатёр внутри четверика начинается не просто раньше, а на несколько метров раньше, ниже. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на три верхних окна (восточного нет) четверика снаружи и изнутри. Для облегчения сопоставлений в качестве линейки можно использовать человека ростом 190 см. Он бочком, но легко выходит на воздух из северо-восточной двери рядом с прислонённой деревянной лестницей в цилиндрической (не скрытой шатром) части восьмерика, то есть высота двери – около двух метров, может быть, чуть меньше. Высота окна на западе сопоставима с высотой



двери, которая близка к размеру видимой части восьмерика, от порога до притолоки; от низа окна до верха карниза (откуда снаружи начинается шатёр, прикрытый весёлыми кокошниками) метра четыре или пять должно поместиться. Это те самые четыре с лишком метра, которые составляют разницу в началах шатра снаружи и изнутри: внутри ниже, в углах помещения от окна уже пошёл расти шатёр, пока снаружи ещё долго продолжаются ровные вертикальные аркатурные кронштейны и полуколонны (на востоке окошко внизу с северо-восточной стороны). Поэтому проекция силы тяжести, всегда направленной к центру земли, уменьшает распирающее, боковое действие веса камней, больше вниз, меньше вбок. У такого решения образовался побочный эффект, на который, скорее всего, рассчитывали авторы: силуэт

Остров. Преображенская церковь. Уровень, с которого за стеной начинается шатёр





приобрёл талию, бочка Богоявленской стала рюмочкой Преображенской (правда, заметна эта стройность фигуры лучше издалека, через судоходную протоку, от Угреши). Высокие углы четверика между сторонами света (северо-восточный, юго-западный и т. д.), образованные несколькими ломаными под прямым углом плоскостями с лопатками, стали удачными контрфорсами, в дополнение к конструкции и металлическим связям, противостоящими разваливающему воздействию шатра.

Всё-таки прав В.В. Кавельмахер (и неправ его сын, который нашёл совсем неубедительные аргументы против), когда относил Преображенскую к XVII веку – она вся родственница переделок кремля и Покровского собора, Введенского Заегорья в Серпухове и более поздних Зосимо-Савватиевской церкви в Троице и Никоновской церкви там же, и бесконечно далека от Вознесенской церкви в Коломенском.

Понятие «годуновская архитектура» существует, а понимания, что это такое, есть пока не у всех. Два десятилетия у власти, из них почти семь на троне оставили по первому из двух царей династии (второму отпущен был месяц) память скорее добрую, несмотря на невынесенный приговор по делу царевича Димитрия. Двадцать лет – срок немалый, не всем столько достаётся. На память среднеобразованному человеку приходят дело царевича, раздача хлеба и помощь малоимущим во время несчастий начала LXXII века, учреждение патриаршества и архитектурная эпоха, названная по имени государя (то есть по времени), а не по внутренней сути. Говорит ли архитектура что-нибудь о времени, или только от карнизах, тимпанах, конхах, антаблементах, импостах и фустах в сочетании с пилястрами и подпружными арками под парусами без мачт, но



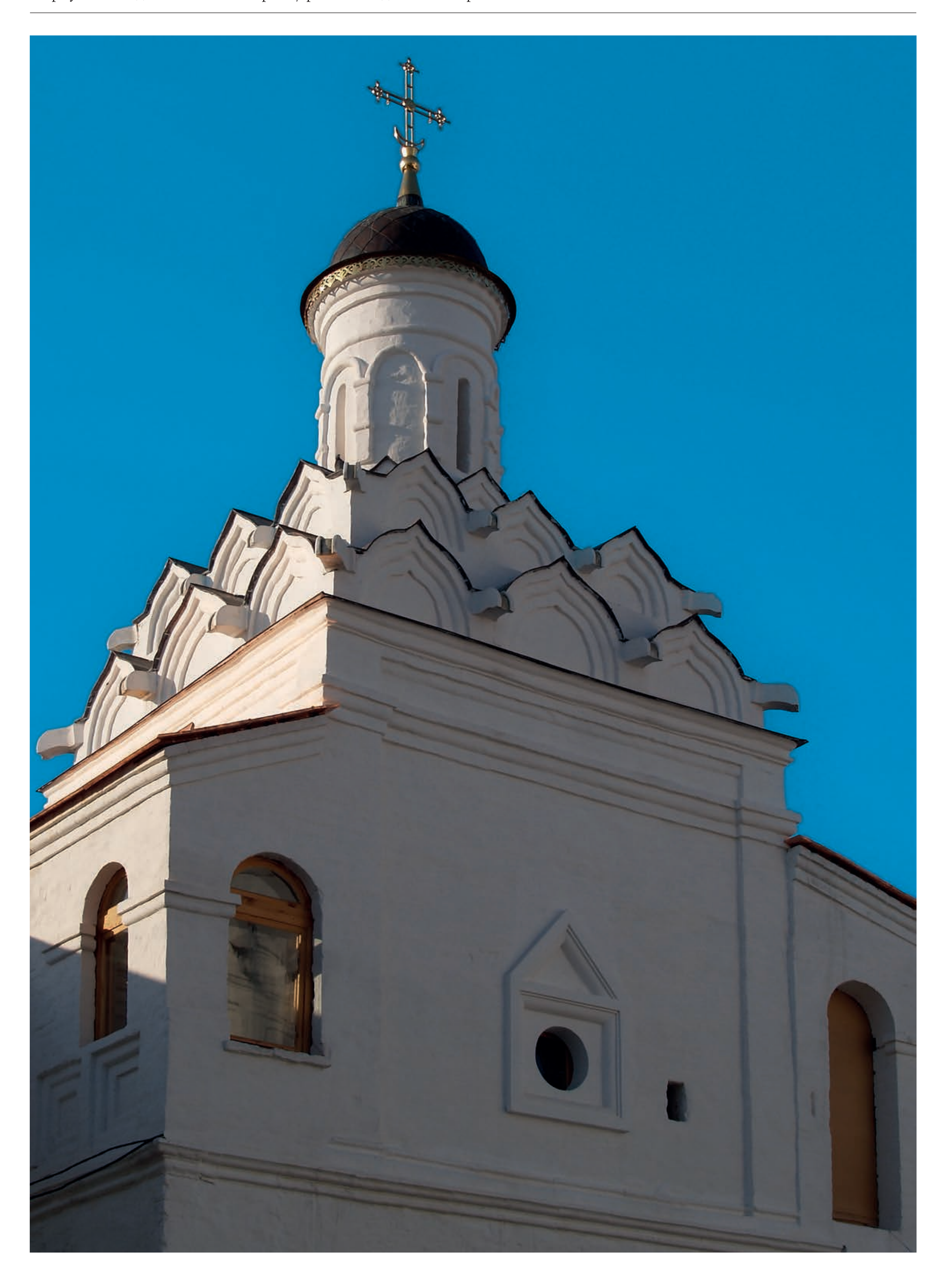
с реями? В конце концов почти всё. Остатки городов, притопленных в Крыму, например, – главный, если не единственный источник представлений о жизни и тысячу лет назад, и две. От одной Покровской церкви (на Нерли) до другой Покровской церкви (на Рву) прошло почти четыреста лет. Если бы какой-нибудь Симеон посмотрел сначала на одну, потом на другую, он бы уловил не только разницу, но и что-то общее. Вот это общее сохранилось и через 50 лет после взятия Казани, как-то проявилось в годуновской архитектуре, и ещё на сто лет хватило, потом на два века оно нырнуло и вдруг опять выпрыгнуло у Павлинова, Султанова, Щусева и Дужкина (не только). Термин «ликование» хорош и подходит, но ему нет пределов, нет о-пределения, так как ровно так же безудержно умеют радоваться во всех сторонах света.

Попробуем приоткрыть только одну из страниц этой толстой книги. Ирод был Иван Грозный, или Соломон, ещё много будет споров, но в памяти он остался как государь редкой породы. И хоть поминать он велел о всего пяти тысячах – это были только те пять тысяч, про которых он помнил что-то достойное поминания; верхняя граница числа колеблется в зависимости от настроений исследователей и знаний о народонаселении страны в XVI веке при начале и «при концу». 1530–1584 – опять 54 (как Наполеон, Пётр и Ленин), причём бедствия начались после юности, раньше были беды. Глядя на бедствия, часть которых приходила из-за действий государя, царский шурин, а потом (после 1598 года) и царь не мог не думать об исправлении череды несчастий, о более цветущем состоянии государства, и удумал, вместе, вероятно, с митрополитом, учредить патриаршество. Но это дальнобойное орудие, а воробьёв надо уговаривать сегодня, и не пальбой, а увещеванием, так, чтобы доходило без литературы, интернета и телевидения. Ни глашатай, ни плеть не подходят, убедительности не хватает, и до-

Серпухов. Звонница и Шатёр Георгиевской церкви (≈1600))

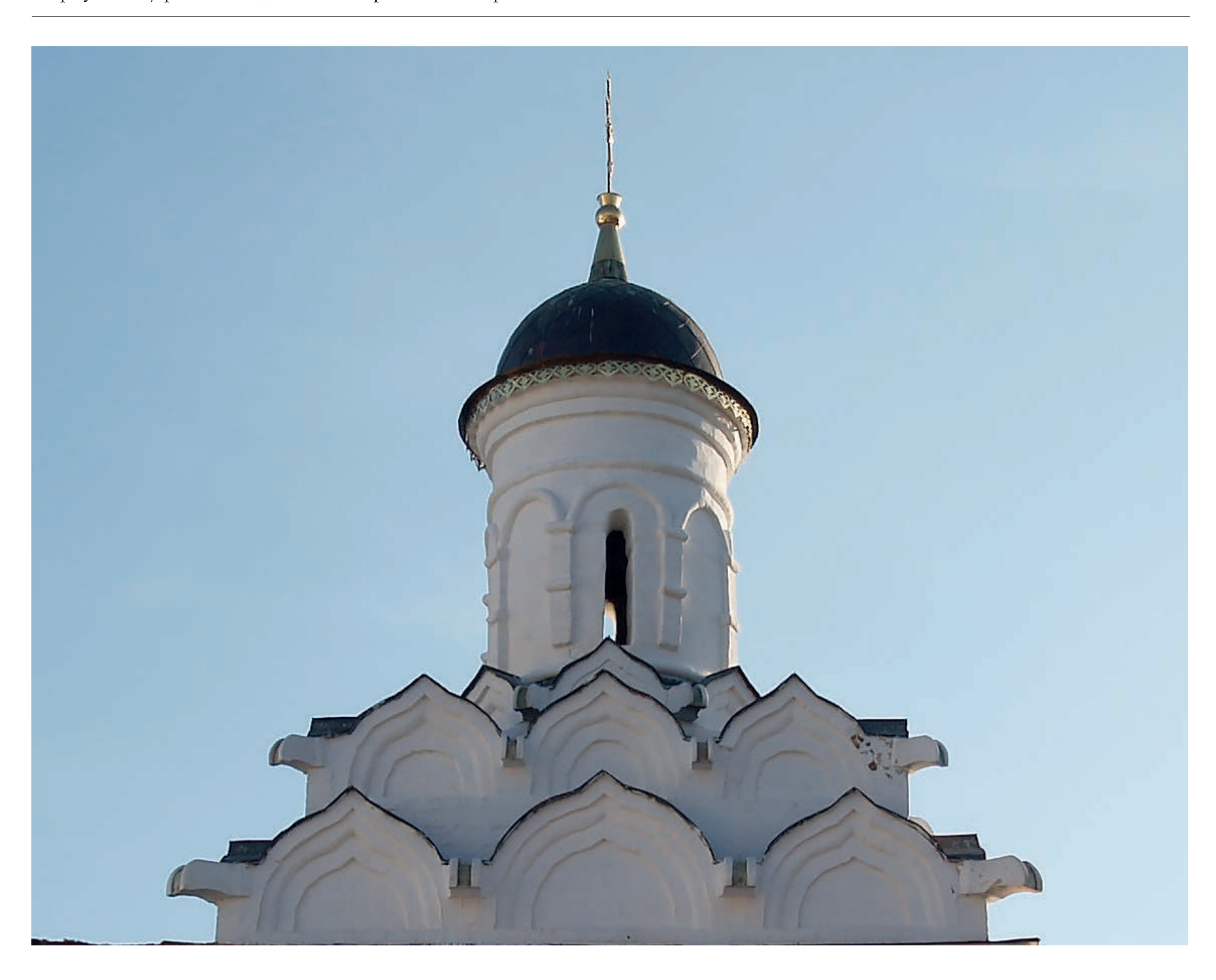


Серпухов. Введенский монастырь. Церковь Феодотия Анкирского. 14 кокошников с юго-востока и глава



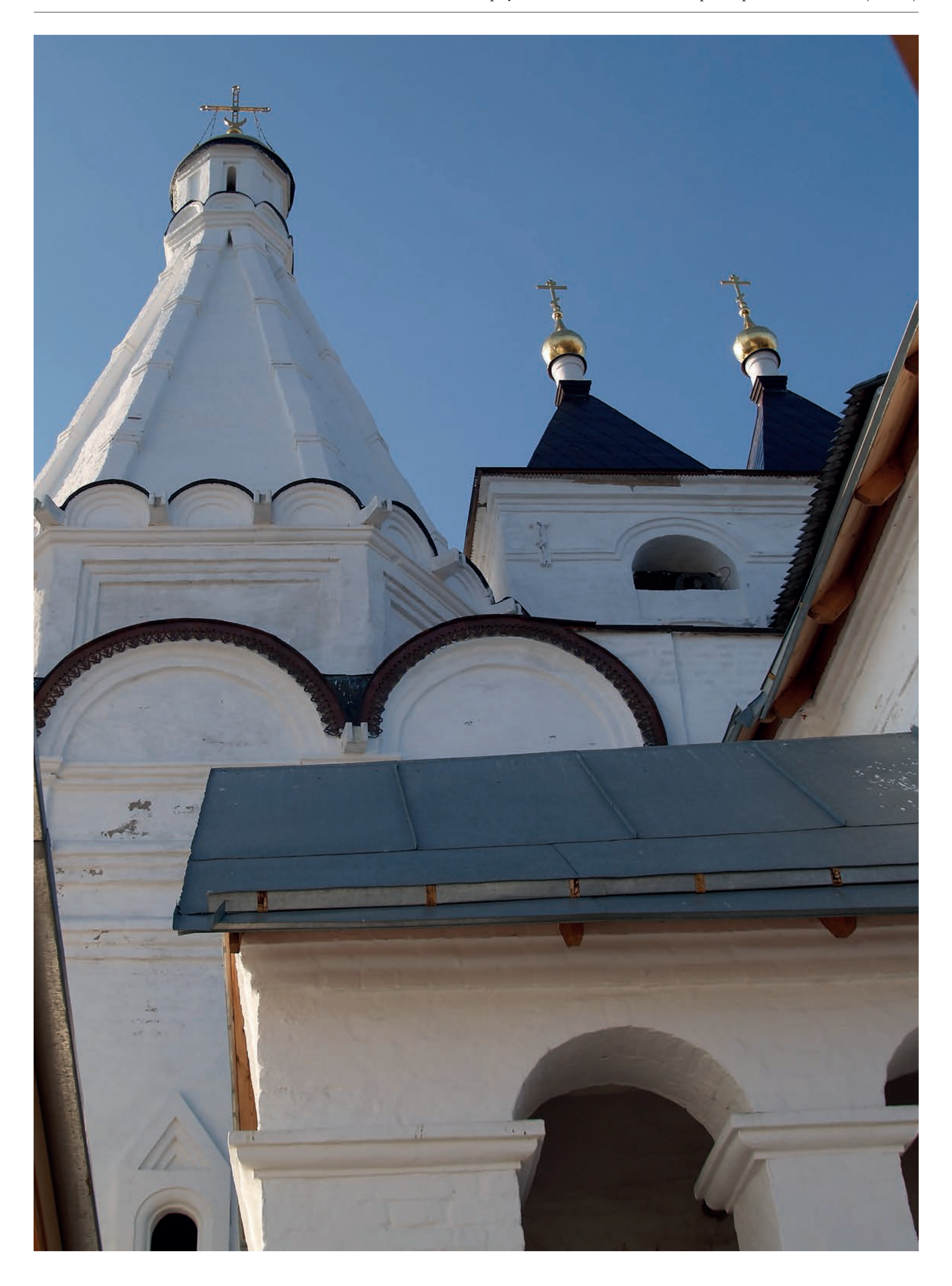
Серпухов. Введенский монастырь. Церковь Феодотия Анкирского. 16 кокошников с северо-запада и глава (≈1600)





ходчивости, в этой области с архитектурными символами и доминантами ничто соревноваться не может. Эта нехитрая мысль стала посещать головы правителей давно, начиная с фараонов и тревожащих небо башен в Вавилоне, и почти сразу изощрённость стала побеждать размерность: «Крупно не хитро, хитро затейливо», габариты важны только для заметности, а разглядывать, заметив, лучше что-то приятное глазу. То, как именно глазу делают приятно, и составляет суть формообразования, здесь поселяется новизна и здесь нельзя промахнуться, уж если масло, то топлёное или оливковое, если мастер, то лучший, если материал, то отборный, причём повторять нельзя, только неслыханное и невиденное, среди прочего и по мысли, по замыслу.

Тут и начинается самое важное и самое трудное. У Василия родился Иван – поставили новый Никитский собор вплотную к маленькому старому, но деликатно, у Ивана родился Фёдор – поставили Фёдоровский собор, тоже немаленький. По сравнению с Покровским на Рву на них тоже ушло много кирпича, но форма отлична как небо и земля. То есть Иван (скорее всего с Макарием) сначала придумали что-то немыслимое, а уж потом велели, как в сказке, сотворить то, что им привиделось: «Пойди туда – не знаю куда, сделай то, не знаю что», не говоря уж про «как». И теперь уже вдруг не скажешь, что знаменитее – София в Царьграде, она же в Киеве и Новгороде, или Покровский на Васильевском спуске ко Рву. Мы все эти образы видим так же, как видел их царь Борис (кроме Царьграда), и ему надо было придумывать что-то свежее, что могло превзойти даже образ Иерусалима на Красной площади. Через полвека патри-



Серпухов. Введенский монастырь. Введенский собор. Отделка второго яруса кокошников с севера (≈1600)



арх Никон додумается погрузить образы святых мест на верблюдов, и караваном переправить их на Истру, и Воскресенский собор, и подземную церковь, и горы, и реки. Мысль просто ни с чем несравнимая, до сей поры.

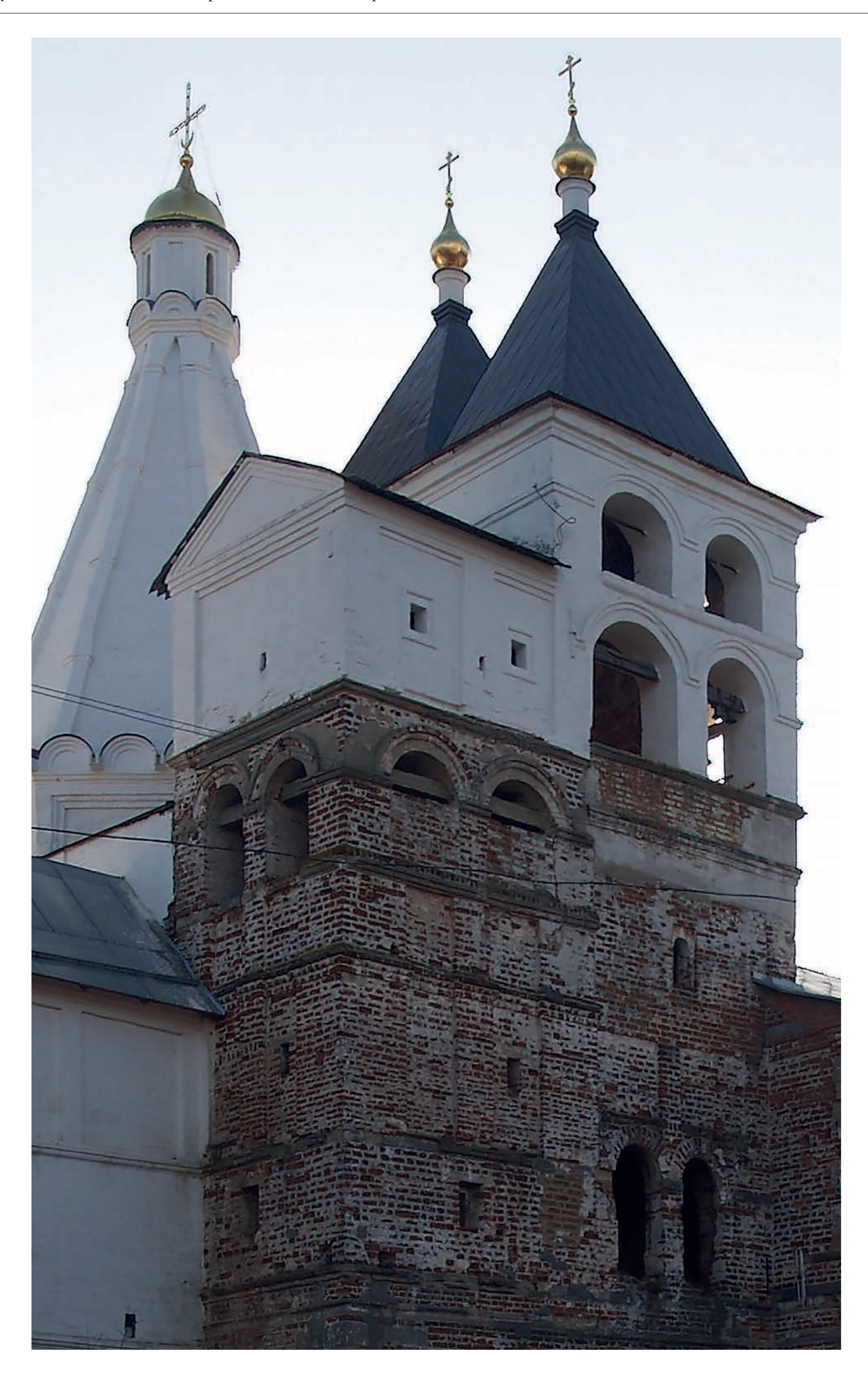
Где-то между ними, между двумя Иерусалимами (на Красной площади и в Истре), надо искать родник, утолявший жажду Бориса Фёдоровича. И он придумал.

Поскольку на том, что он придумал, не висит табличка с надписью крупными буквами, что это и как называется, придётся не показывать пальцем, а убеждать.

Во-первых, конечно, это должна быть церковная архитектура, как ни огромна смоленская стена Фёдора Коня, всю её видно только с неба, а требуется что-то охватываемое взглядом; во-вторых, по универсальности, общедоступности, всеохватности и «поражающему» глаз эффекту этому архитектурному предмету не должно быть равных. И в-третьих, символ не должен «бить наповал», перо – не кувалда, павлин не корова, человек должен понять, что что-то произошло, но что именно – не ухватишь, не выразишь словом, не почувствуешь весом в руке, кровь капает, но не из-под ножа.

Введенский Владычный монастырь в Серпухове собрал в себе сразу четыре постройки времени Бориса Годунова – три церкви и звонницу. Каждая постройка заслуживает внимательного рассмотрения. Взгляд всегда должен быть пристальным, но здесь – особенно, потому что четыре предмета создавались все со смыслом и были







настроены друг на друга, не как случайно попадавшие с неба, а как один инструмент, от «ми» до «ми» на шести струнах.

Строитель Георгиевской церкви был внимателен именно к облику, к тому, что видно наблюдателю, а на то, что заведомо скрыто от глаз – и кирпич тратить не стоит. На западе четверика из положенных трёх выполнен только один кокошник, на остальные взгляд всё равно никогда не упадёт, огромный притвор загораживает место, где могли бы быть ещё два кокошника, звонница отвлекает внимание, шатёр утягивает за собой ввысь. Автор был настолько уверен в себе, в том, что он лепит образ, в котором надо нарочно и специально показывать самое главное, а чем-то приходится и пренебречь, что на востоке решил не выводить апсиду (или апсиды), а сразу сосредоточился на лестницах, крыльцах, подъёмах. Решение не уникальное, но нечастое. Случалось, что один из входов делали на востоке (Благовещенский собор в московском кремле), но место престола чаще всё-таки выделялось архитектурными средствами, здесь же от входа в монастырь с запада сразу восточный фасад не виден, он за углом, а потом уже вниманием вошедшего завладевает Введенский собор, портал, лопатки, два ряда параллельных кокошников над пряслами стены. Ради чего отказались от апсиды? Ради помещения, производящего впечатление полуподвального и скорее служебного, и лестницы в ущелье двух поднимающихся стенок, ведущей в крыльцо, ведущее в крыльцо, ведущее в крыльцо, ведущее в звонницу. Единственное, что здесь можно делать – подниматься, лучше не спеша. И смотреть издалека или вблизи, не без труда припоминая, что, кажется, где-то и когда-то что-то похожее вроде бы уже видел, во всяком случае, ничто глаз не режет, всё как-то



смутно знакомо, но при этом и ново, потому что ничего такого раньше не было. Глядя с востока на шатёр, задрав глаза, чувствуешь себя где-то в глубине тесного старого города, почти слыша его шум и запахи, он сразу делается знакомым, даже родным, своим, с детства исхоженным.

Звонница наверху расположилась на высоте, где уже недалеко до граней шатра, оттуда, из продуваемого ветрами павильона, кажется, рукой можно дотянуться до скоб на западной грани, вмурованных для тех смельчаков, которым приходится время от времени забираться под самый купол сквозь узенькие окна, чтобы поправить какую-то неисправность.

Всё это «палатное строение» не содержит никаких палат. Можно было бы попробовать примерить к нему назначение гульбища, но всякое гульбище должно вести ко



входу в притвор или трапезную, а тут входить некуда, кроме звонницы, куда доступ не всем и не всегда.

Хочешь – не хочешь, а приходится признать, что вся эта уйма кирпича, связей, извести и стараний пошла на изготовление картины. Причём картины настолько замысловатой, что поначалу её трудно различить, распознать как изображение – нет ни холста, ни досок, ни красок, ни штукатурки, наконец. И нет рамы, нет границ картины, она не останавливается там, где кончилась доска, ткань или сырая штукатурка на стене или на потолке, а продолжается по всем координатным осям, налево и направо, вверх и вниз, подальше и поближе.

В клеймах икон, внутри самого изображения, на фресках не просто часто, а почти всегда встречаются архитектурные мотивы, окна, лестницы, крыльца, столбы, портики, порталы и фронтоны, иногда деталями, иногда перспективами, целыми городами и улицами, с предместьями и горными местностями, с хибарами в пустынях, населённых людьми и животными. Иногда сюжет отвлекает, и кажется, что архитектуры как-то маловато, но стоит чуть перевести взгляд, и вот уже царь Соломон не просто царь, а выглядывает их окошка справа, а слева царь Давид наяривает на гуслях что-то настолько благозвучное, что почти благоуханное. Священная топография всегда условна, поскольку не портретирует местность, а моделирует её, никогда не виденную, разве что в книгах, похожих на издания Пискатора. В этих моделях часто присутствует ракурс, снизу вверх, кроме, пожалуй, Вавилонской башни, которую разрушить можно лишь сверху. Здания, города, крепости и отапливаемые (с печными трубами) поблизости от Иерусалима дома по большей части ждут, когда к ним поднимутся, то ли на гору, то ли по лестнице, хоть по облаку.

То же и в кирпичной звоннице. Вместо апсиды у Георгиевской церкви появилась не одна архитектура, но и география святых мест, ощутимая, трогаемая руками и глазами. Это и икона, сделанная камнем, то есть архитектурный мотив не нарисован, а вышел из рисунка, стал «во плоти», в кирпиче, и самый Иерусалим, Иерихон, Назарет, даже и Вавилон и горы, на которые надо подняться, чтобы получить Завет.

Не хочется придумывать новые слова, но вещь настолько огромная, что её требуется назвать для понимания. Это «иконолит», или что-то с корнем «-петр-», «штайнбильднис», «петрология», «горнемыслие». Нет, всё одинаково плохо.

Кто придумал, вряд ли станет известно, Филипп, Иов, Годунов, неведомый строитель монастыря. Но именно этот Заегорий (он «за церковью Георгия, почти на задворках») своей сверхсимволичностью может претендовать на выражение неуловимой сути «годуновской архитектуры» и даже всего его премудрого почти двадцатилетнего правления. Если семантика в архитектуре есть, если она уловима вообще, если она может быть постигнута из неархитектурных понятий, то более внятной фразы и представить себе нельзя. Бесконечное восхождение доступно всем, оно благотворно и разлито повсюду, открыто и нетаинственно, оно привлекательно и маняще, потому что в нём есть простота и красота, над которой много трудились, думали и стремились быть понятными. Приложима ли эта фраза к другим зданиям годуновских лет и отличает ли она годуновские стили от прочих? Пожалуй, нет, ни то, ни другое, и не прикладывается, и не отличает. Как можно назвать музыку? Она больше любого названия и определения.

Это вывернутая наизнанку окаменевшая икона, её смысл, молча выкрикнутый, рассказанный немым и услышанный глухим.

Надвратная церковь Феодотия Анкирского останавливает, даже когда ворота настежь. Ѳеодотъ (Богдан) – крестильное имя Бориса Годунова. Много ли народу вспоминает об этом, проходя под церковью, сказать трудно. Ещё меньшему числу приходит в голову, что горка кокошников, прикрывающая сомкнутый свод церкви





снаружи, как-то может быть связана с куполом наверху барабана, самая простая связь – и то, и другое суть половинки. Полукруг и полушар (чуть больше, или чуть меньше), геометрия по крайней мере родственная, если полукруг раскрутить, как волчок, получится полушар (пока не остановится и не упадёт). Совсем уж редким выдумщикам приходит на ум мысль сосчитать все закругления. Четыре стороны по шесть да восемь сверху и глава. 33. Совпадает с числом земных лет Христа. Нарочно ли? Кто же знает! Но даже если не нарочно, совпадение становится ещё более многозначительным: значит, так… «исторически сложилось». С таким посвящением (Ѳеодотъ) у церкви появляется ещё одно назначение, она начинает работать вывеской, монастырь к имени получает прозвище: «Годуновский», собственный, только очень мелкими буквами, не все могут прочесть, не все могут и сосчитать, не всем явлено число «33». Но это ни на что не влияет, всё настоящее, без обмана. Число потом появляется и ещё раз, на шатре: у каждой из восьми граней по три кокошника внизу и по одному вверху; и опять прибавим купол. Конечно, ничего не значит, конечно, случайно. Оттого, что слово никто не слышит, оно не пропадает. И то слово, которое сказано Заегорьем, тоже плохо слышно, но уже потому, что слишком громкое, для него надо ухо отрастить побольше, или отойти подальше, лет на четыреста.

Введенский собор такой простой, что казался бы бедноватым, если бы не размер. Стройный куб с шириной больше высоты. Украшений и декораций так мало, что непонятно, откуда берётся изящество. Толстяк не должен быть грациозным. Секрет знает только автор, а глаз усматривает лишь торжество цифры «три». Три прясла, треугольное завершение портала, три окна, два раза по три кокошника, видны только три барабана и главы, везде есть вершина треугольника, второй ряд кокошников поставлен теснее, чтобы подтвердить сужение силуэта кверху. Но главное – скупость эмоций. Архитектурные слова падают редко, тяжело, зато нет ни лишнего, ни суеты. Другой раз такая неразговорчивость будет повторена нескоро, во Флорищевой пустыни, со столь же отчётливой дикцией. У обоих государей скипетр продержался в руках недолго, меньше семи лет, и возраст разный, сравнивать нельзя, и эпохи иные.

Есть, может быть, и не одно, но в числе прочего нечто очень важное, лежащее в основании их архитектурного следа, и что нельзя забыть упомянуть, хотя доказать справедливость суждения трудно, если вообще возможно.

Это достоинство. При малости документальных свидетельств архитектура может быть принята в качестве одного из отражений внутреннего мира, через ряд передаточных звеньев, конечно. И именно достоинство, покой, несуетность объединяет то, что положили в камни Борис Фёдорович и Фёдор Алексеевич. Не то, чтобы грозненские постройки и здания Алексея Михайловича были лишены этой характеристики, нельзя сказать, что Покровский собор на Рву или дворец Марии Ильиничны в Саввином Сторожевском монастыре лишены достоинства. Но именно оно приходит на ум последним, когда видишь церковь Вознесения в Коломенском или церковь в Никитниках или даже Николу Мокрого или Иоанна Златоуста в Ярославле. А к Большим Вязёмам подходит, и к другим памятникам годуновского круга. Повадка, поворот головы, стать, неспешность и раздумчивость – и при этом полное отсутствие величавости, хотя величия сколько угодно, хоть отбавляй.

Да. Вот почему-то – достоинство. Это вообще два периода, когда достоинство становилось государствообразующим понятием и работало не хуже, чем язык или территория.

Церковь Вознесения в Коломенском, Петра Митрополита в Переславле и Елоховская – безапсидные, так что редкостью это быть не может, но есть недопонимания, продиктованные не только пробелами в образовании: насколько известно, даже

А.С. Щенков не взялся объяснить, а почему апсида не понадобилась при строительстве.

А.Л. Баталову принадлежит много открытий и интерпретаций годуновской архитектуры, начиная прямо с перевода посвящения надвратной церкви Феодотия Анкирского: крестильное имя Бориса Годунова, сокрытое от праздной публики, чтобы избежать колдовских неприятностей от недругов, – Богдан, по-гречески Θеодотъ, позже часто сокращали до Федота, легче выговаривать.

Церковь Феодотия Анкирского ещё долго будет щедра на приоткрытия её больших и маленьких секретов; она какая-то хитро-невзрачная. Если верно, что между тридцатью двумя кокошниками и главой (куполом) существует семантическая связь (то есть только через численное совпадение с апокрифическими годами жизни Христа), то предположительно есть и некоторая связь между формами кокошников и купола. Нет резона ввязываться в дискуссии о форме (шлем или луковица), но при следующей реставрации церкви (вероятно, нескорой) хорошо было бы попробовать примерить форму главы, начатую карнизным расширением барабана, более близкую к шару без донышка, многажды нарисованную чуть пониже, в кокошниках.

Форменная неожиданность церкви снаружи монастыря – почти полное отсутствие четверика. Завершение церкви не стоит на четверике, оно упало на стену или гульбище. Изнутри монастыря квадратная сторона четверика появляется под кокошниками и главой, но обнаруживается новая неожиданность. Где апсида? На её месте – круглое окно там, где внутри церкви полагалось бы быть Горнему месту напротив алтаря, который надо ещё где-то разместить. Приходит очередь удивиться размерным характеристикам. На востоке чуть правее есть дверной проём. Пусть он будет двухметровый в высоту. Пусть даже трёхметровый. Ширина стены церкви на востоке – около 5–6 метров, таковы же ещё три стены. На алтарь хотя бы два метра надо, иначе не повернуться, не разойтись во время службы, ну полтора. Вычитая некоторую толщину стен, площадь помещения перед иконостасом колеблется вокруг полутора-двух десятков квадратных метров. Пять прихожан – уже толчея.

А что если окно в восточной стене сделано не для того, чтобы смотреть наружу, на трапезные палаты Георгиевской церкви и на Введенский собор, а наоборот, смотреть изнутри на того, кто внутри? И если поместиться на Горнем месте в нужный момент, не вечером, а скорее с утра, когда солнце низко на востоке, то при открытых Царских вратах вокруг головы сидящего на троне присутствующие немногие на службе (многие не поместятся) увидят свечение или ореол, который на иконах передаётся нимбом вокруг головы. А если Горнее место немного утоплено в стену или нишу, впечатление застрянет в голове как золотая отливка, тяжёлым слитком. Народ уговаривать – пустая затея, всё равно толку не будет, надо убедить тех, кто водит народ за руку, тех немногих, которые поместятся в церковь Феодотия Анкирского. Служба – 31 мая, солнце при хорошей погоде давно высоко, переваливает даже через громаду Введенского собора. Эта особенность хорошо согласуется с малыми размерами молитвенных помещений всех тех немногих безапсидных церквей, которые удалось повидать, например, Введенской в Старице, Петра Митрополита в Переславле-Залесском (Елоховская, правда, не маленькая).

Отсутствие апсиды, повторенное в Георгиевском храме по соседству, перестаёт быть случайностью и результатом прихотливого вкуса Бориса Годунова, оно должно быть понято как дважды внятно выговоренное архитектурное слово. В Георгиевской церкви есть ещё повтор – круглое окно на востоке (правда, в подклете, и целых три чуть повыше). Это уже не слово, целое предложение. Окна вообще имеют несколько предназначений, из очевидных – сохранение тепла при помощи стекла или иных (полу)прозрачных загородок, освещение внутри и взгляд наружу. Первые два сейчас

неинтересны, а вот взгляд из обоих окон падает на Введенский собор (придела, похожего на отдельно стоящий алтарный выступ, до середины XVII века нет), у которого апсиды на месте. Никакие дальнейшие предположения в голову не приходят, точнее, все они немного отдают «народной этимологией», то есть основаны на незнании. Приходится признать, что речи, выговоренные строителями Бориса Годунова, пока остаются услышанными, но непонятыми.

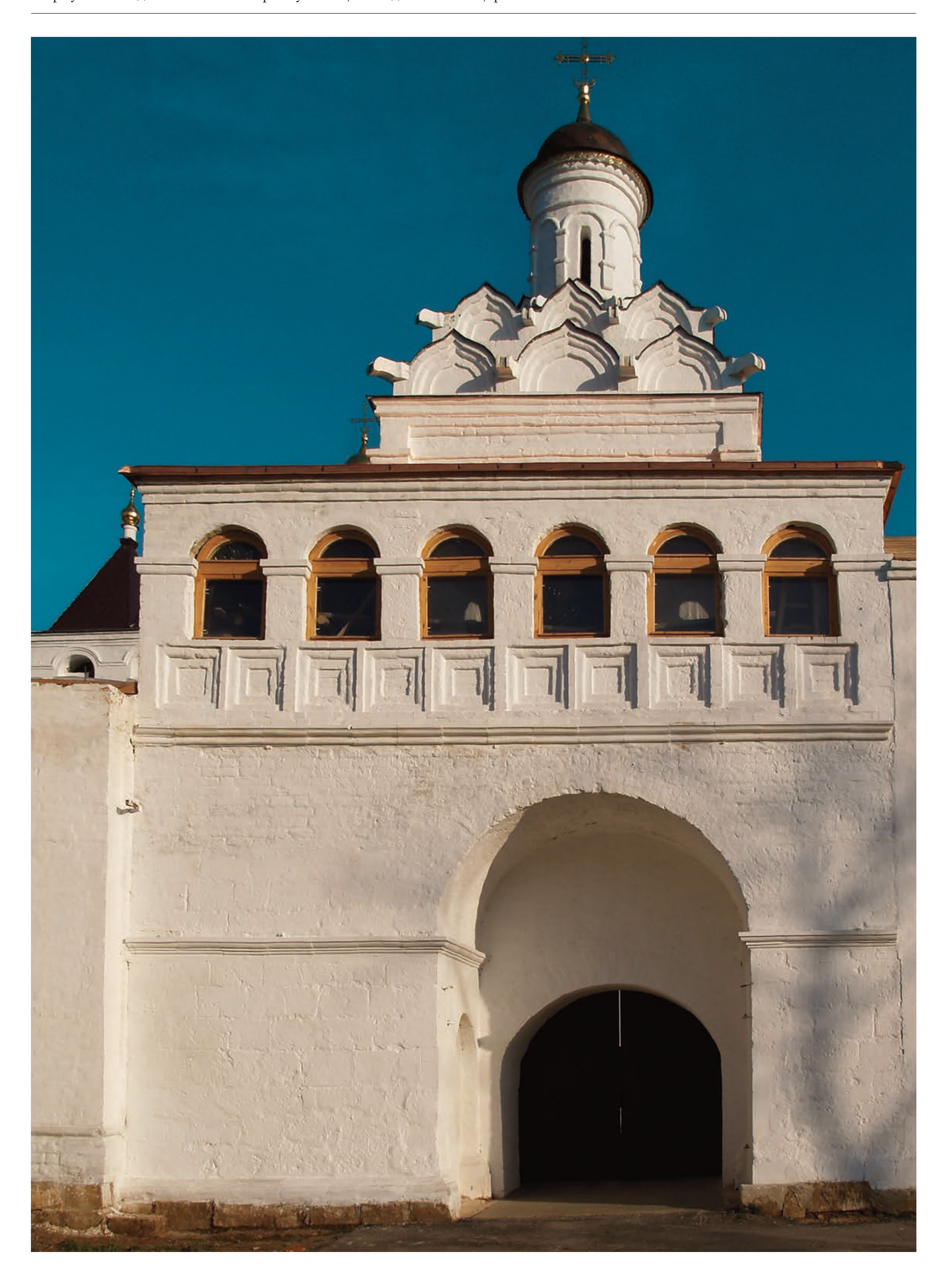
Уличный образ церкви Феодотия Анкирского (верхушка без четверика, закрытого снаружи гульбищем) настолько непривычен, что врезается в память, и, по всей видимости, не только современникам Бориса Годунова: хочется предположить, что отсюда пошло само выражение «горка кокошников» – здесь, кроме «горки», ничего и нет под главой, она, горка, и запоминается, а если по углам уместить четыре малых главы, то готов облик самой что ни на есть обычно-привычной церкви вообще, причём не такой изощрённо-мастеровитой, как Успенские соборы во Владимире и Старице, а рядовой, построенной на средства прихожан, без богатых ктиторов и иноземных специалистов. Иными словами, выходит так, что нарочно или случайно церковь Феодотия Анкирского стала модельной и образцовой из-за малости своей, из-за отрезанной верхушки, врезавшейся в память, из-за того, что никто и не ищет в ней никакую апсиду, её отсутствие не мешает, а окно на востоке (два окна, второе в Георгиевской церкви) переводит взор на восток, на Введенский собор, делая его ещё более заметным, сверхобычным, самым-самым главным. Тем более, если знать, что он находится позади ореола того, кто восседает на Горнем месте.

И последняя мелочь большой важности. Кокошники второго ряда заметно меньше по размеру, чем те, что снизу, в первом ряду, и выведены кирпичом с кривизнами, овалы все гнутые без плавности, как-то всё неаккуратно, если приглядеться. В том-то и дело, что строители точно, наверняка знали, что никто не станет приглядываться, цельный образ прыгает в глаз без подробностей, нечего и трудиться над изгибами обводов.

А вот с арками гульбища применена другая хитрость. Окон в гульбище – шесть, а ширинок под ними – десять. Тут долго думать не надо, веревочкой одинаковые отрезки отмерил, одно под другим – и хорошо, всё ровно. Ничего подобного. Между окнами пять одинаковых простенков, серединка находится так же легко, как десять делится пополам, стало быть, под центральным простенком должна быть линия, разделяющая пять слева и пять справа ширинок. Оказывается, нет, она заметно левее. Случайно? Ни в коем случае. Ширинки-то ведь легли в стену раньше простенков, их сначала сделали неровными, а потом, может, через месяц, сверху поставили шесть ровных окон. Там ещё не умели делать ровно, а к окнам уже научились? Это вряд ли.

Эта нервная неровная рябь, смещённая влево от вертикальной оси двухчастного входа (две арки, повыше и пониже), лишает равновесия, подвешивает всю конструкцию выверенной стройности горки кокошников, она начинает мелко подрагивать и шевелиться, напрягая все силы, чтобы удержаться от падения, как будто центр тяжести вышел за пределы площади опоры. Нет, не на помойке Борис Годунов нашёл своих строителей, неважно каких, иноземных или здешних, в этом гимнастическом «пистолетике на брусьях» – уйма мастерства, недетское умение.

Сам вход, он же въезд ,сделан очень умудрённо. Высота проезда в центре, в воротах, – почти такая же, как высота входа в стене слева. Человек пройдёт, возок и сани проедут, а вот карета с шатром – маловероятно. Конечно, нельзя исключить, что высокий, вдвое выше проезда проём заложили дальние преемники Годунова, но что-то плохо верится, что им доступна такая простая, короткая, лаконичная мысль: почета тебе, входящему, много, но всё же поклонись прежде, чем войти, склонись перед памятью Феодота, которая начинается сразу там, где кончается высоченная арка, цер-



ковь, подразумеваемая там, сразу за гульбищем, приобретает привычные габариты, только если её мысленно начать с этой высоты.

А привычной брани по адресу застеклённых проёмов не будет. Незадолго перед строительством этих ворот один англичанин подметил, что «так сделан мир: живущее умрёт». И у того, что сегодня так крепко защищено от атмосферных осадков и низких температур, были отличные шансы лишний раз подтвердить годность этой гадкой мысли и в Серпухове. Если для спасения криптошедевра понадобилось всего-навсего застеклить гульбище, следует сделать такой способ всеобщим.

На чём основаны предположения – неважно. Важно, правдоподобны они или нет, появляется логика в понимании истории, или нет. (Русский философ Густав Шпет написал в XX веке два тома, названные «История как проблема логики»). Привлекательное, соблазнительное своей логичностью предположение имеет право на существование до тех пор, пока не появится новое, ещё более привлекательное – или (лучше) пока не вывалится в современность бумажный, каменный, костяной, деревянный или тканый (и т. д.) факт, разбивающий хрупкую конструкцию логичного предположения и требующий созидания нового объяснения, обнимающего новые факты. История требует постоянного переписывания. Физикам и геометрам легко – у них всего по два крупных предмета: физика Эйнштейна обнимает физику Ньютона, геометрия Лобачевского включает в себя геометрию Евклида как частный случай; у историков простор для предположений пошире, и факты всё время вываливаются новые и новые, отвлекая от построения понимания, потому что сами по себе бесконечно интересны, увлекательны и ценны, как серебряная копоушка из эпохи Второго, предположим, царства на среднем, допустим, Ниле. Пространство между эрудитским исследованием и сочинением понимания истории – огромно; тежёлый маятник на длинной цепи медленно перемещается между архивным крохоборством (с безупречной правдивостью) и изобретательной фантазией (с недоказуемыми измышлениями) и одно без другого существовать не может. Пожалуй, и хорошо, что фантазёров меньше, чем крохоборов; чем больше человек знает, тем тише его речи и скромнее гипотезы – просто потому, что он не однажды убеждался, что возможно вообще всё. Вот именно это «вообще всё» и оставляет крохотную лазейку для воображения. Ну если «всё» – стало быть, и это тоже?

Столь долгое расшаркивание понадобилось для того, чтобы сформулировать вообще ни на чём не основанное предположение.

Митрополит и будущий патриарх сорокасемилетний Никон в 1652 году перенёс мощи митрополита Филиппа из Соловков в Москву, а вскорости (1656) задумался о строительстве Нового Иерусалима на Истре. Как, какими качествами мог крестьянский сын (Никита Минин села Вельдеманово Закудемского стана в нескольких десятках вёрст от Желтоводского Макарьева монастыря на Волге под Нижним Новгородом) заслужить право стать Великим государем – то есть почти наравне с царём хотя бы в титуле? Предположим, что его мотивация соответствовала должности. То есть книжная справа, кратное расширение Патриаршей области, основания монастырей, заботы о благочестии и так далее – имели причиной не стяжательство и утоление честолюбивых амбиций, а пресловутые «благие намерения», попечение о пастве, размышления об устройстве общества для блага населения и тому подобное; этим и оказались созвучны начинаниям нуждавшегося в руководстве молодого царя (второго в новой династии). Доказать или опровергнуть это предположение нельзя. Примем его как рабочую гипотезу.

Никон не делал вид, что думает о пастве, а думал о ней, о её благе. Не противореча Священному писанию, эти размышления дожны были основываться на недавнем

опыте похожих на него по предназначению людей. Глубина исторической памяти – субстанция трудноуловимая. С одной стороны, разрушение торговых мест в храме Иисусом больше полутора тысяч лет назад мало чем отличалось от наведения порядка в торговых местах на наплавном мосту под московским кремлём в середине XVII века, когда пыль от размахивания и сотрясения мягкой рухляди (мехов) скандально мешала расторговаться продавцу моркови. И то, и другое было одинаково понятно всем, в памяти лежало в одном ящичке. С другой стороны, сто с небольшим лет записаны в самом названии человека – на одно лицо выдаётся примерно сто годов. К началу XXI века, например, ментальная мумификация В.И. Ульянова ещё не состоялась, посягательства на память его соратников лично затрагивают действующую память многих и многих людей, настолько, что они не дают его похоронить. Не исключено, что и для патриарха Никона всё, что происходило в течение ста лет до его дней, было близко и понятно, потому что узел умственных задач, осознаваемых действующими лицами столетней истории, был примерно один и тот же. Применяя увеличительное стекло, можно твердо заявить, что для Александра Горчакова мучительные переживания Тутмоса II или Хатшепсут были совершенно безразличны. То есть умом реконструировать нравственные и эмоциональные переживания фараонов и жрецов можно, хотя и нелегко, но душевного отклика нет, как правило, никакого.

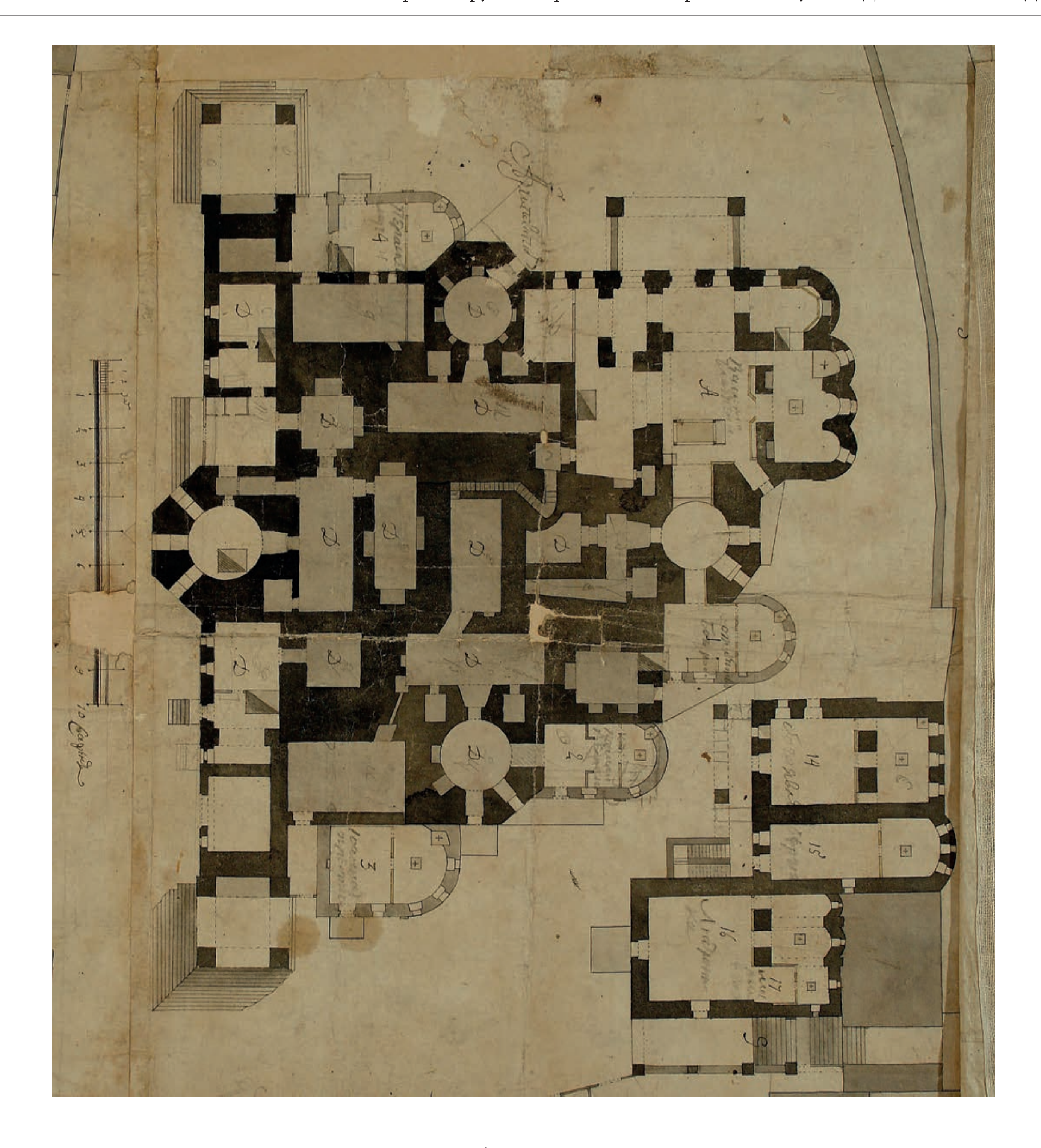
Для Никона эпохи митрополитов Петра и Алексея были всё-таки дальше, чем времена Макария и Филиппа, переживания и поступки которых были почти злободневны, иначе зачем переносить мощи Филиппа. Причём куда переносить – в кремль, в Успенский собор.

Оттого, что мы не в силах документально подтвердить чьё-то авторство, не меняется факт, что изобретение, открытие, начинание, вообще что-то новое – состоялось. Изобретатель колеса неизвестен, но изобретение явно было, тому доказательство долго искать не надо. В XV веке царя на Руси не было, а в XVI появился, причём сразу переводным термином не «конунг», а «рекс» (ещё у С. Герберштейна, до Иоанна IV, царя с 1547 года). 17-летний юноша был сколь угодно скор умом, но вряд ли сам набрёл на идею стать царём, помогли старшие товарищи. В XV веке и патриарха на Руси не было, а в XVI появился, причём всего через 42 года; вялый Фёдор Иоаннович вряд ли в 1589 году своим умом постиг полезность повышения статуса самоуправления церкви, конгруэтную повышению статуса великого князя до положения царя и Великого государя. Может быть, и не Борис Годунов в одиночку, а, скорее, целый слой или группа царедворцев и священнослужителей нанесли на грозненскую чашку Петри культуру нового, более, чем античного, достоинства двух (а не трёх) ветвей власти в России, которая взрастила, дала стране и миру таких гигантов, как Иов, Гермоген, Филарет, Никон, Иона и даже Иоаким – при довольно невзрачных Михаиле, Алексее, даже «автодидактичном» Петре.

Во всяком случае, если сравнивать Бориса и Петра, то первый предстаёт в образе «Катерпиллера» с ковшом, в котором поместятся полтора десятка петровских колесных кузнечиков, изготовленных в одноимённой Белоруссии.

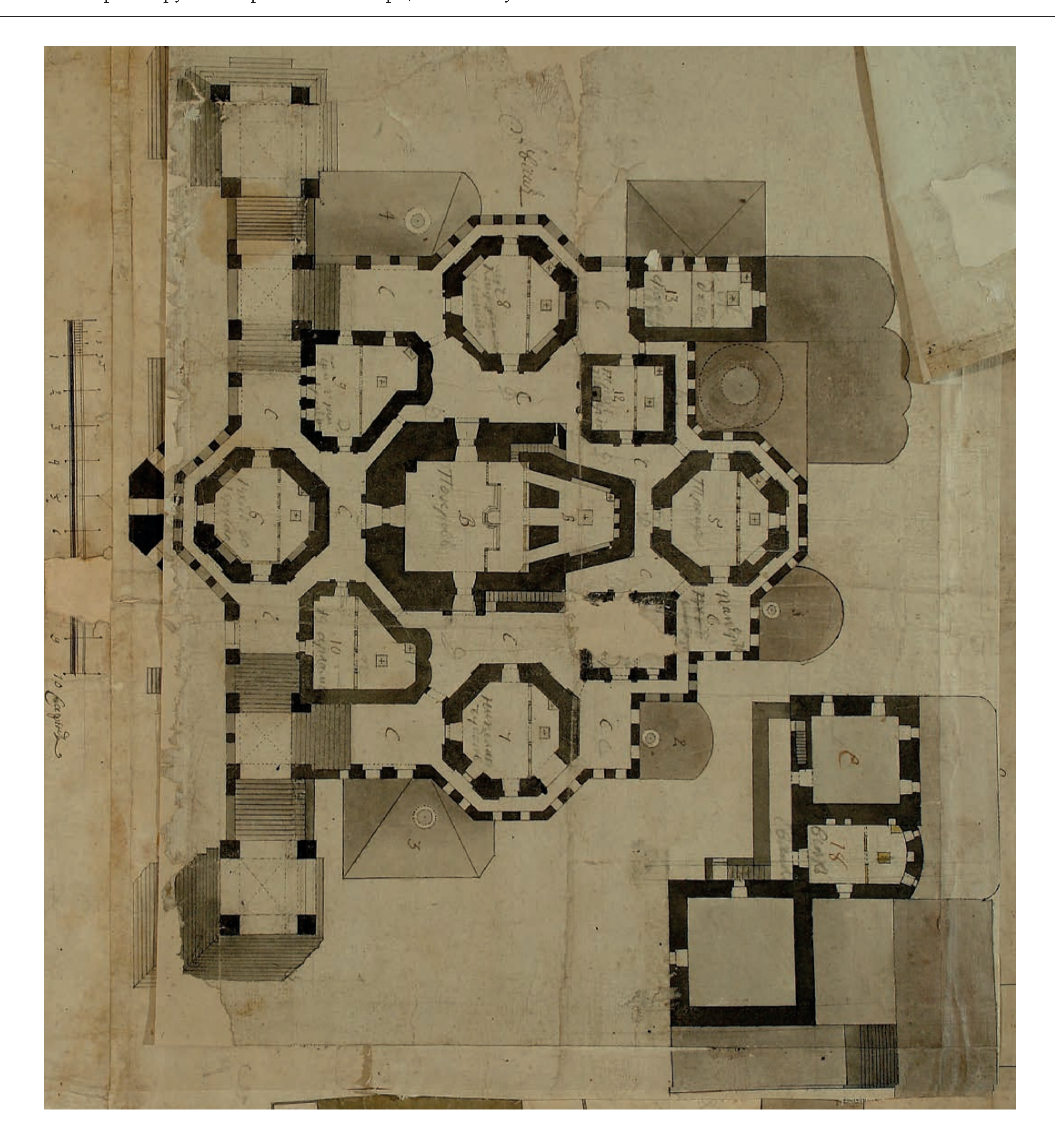
Столь решительное перемещение двух рычагов относительно двух точек качания можно временно принять на веру просто из любопытства – куда же ещё заведёт эта кривая дорожка. Второй, менее важный рычаг – понижение демиургической афиши Петра Алексеевича до роли заурядного и не очень удачливого реформатора – выглядит как продолжение давно набившего оскомину спора петрофилов и петрофагов, ни один из которых не знаком с подробностями дискуссии остроконечников с тупоконечниками. Начинать, конечно же, надо сбоку, – и прямо на сковородку. Всё, что сделал, или не сделал, или не так сделал Пётр Алексеевич – несопоставимо с тем, что начинали делать Макарий, Филипп, Иов (с Борисом Годуновым), Гермоген, Никон.

1780. План первого яруса Покровского собора, что на Рву. РГАДА. Ф. 383. Оп. 1. Д. 16.

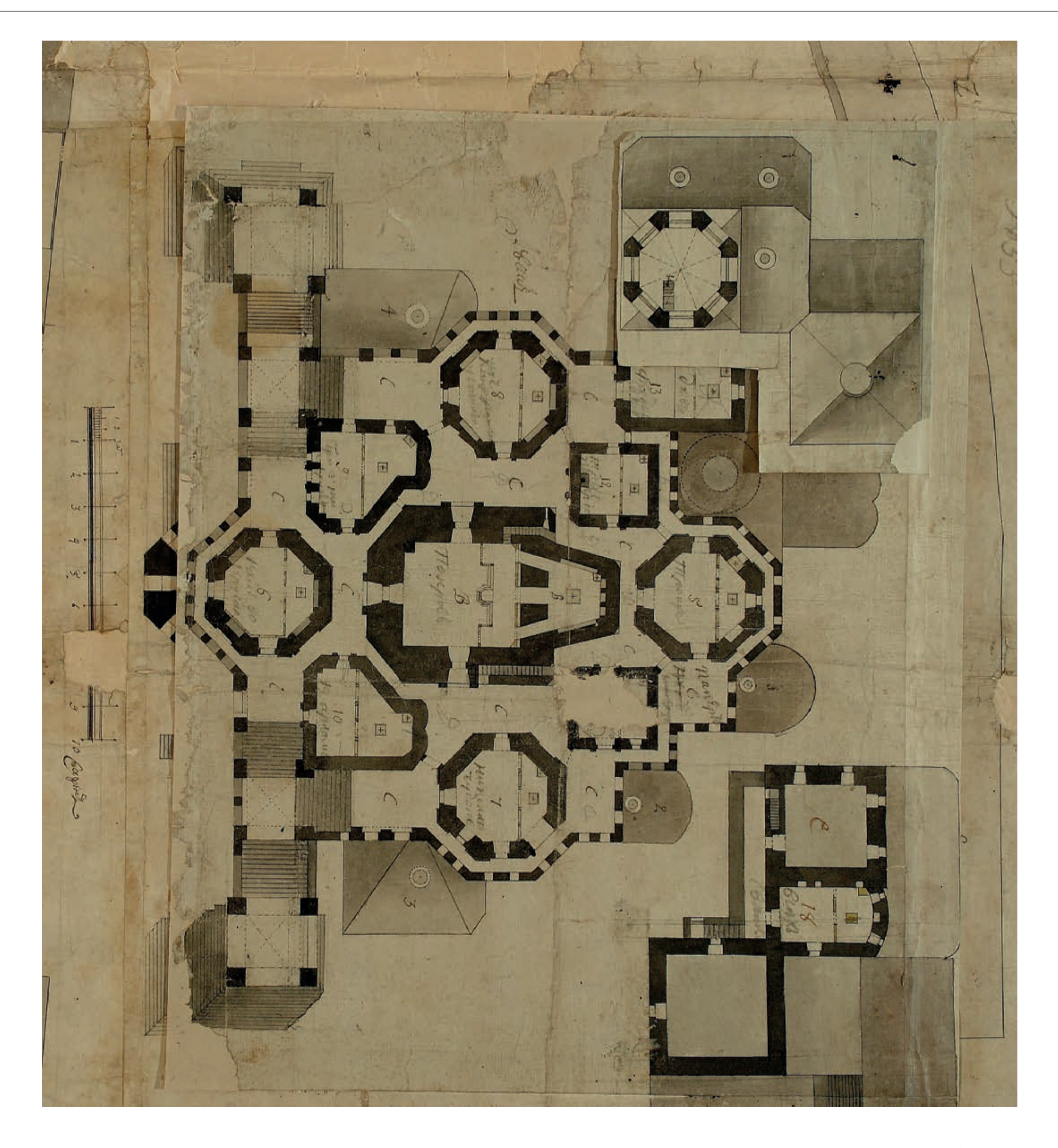


Они – на примере Иоанна Грозного убедившись в недостаточности сил самой сильной и безжалостной власти – медленно и постепенно, на протяжении почти ста лет строили рядом с царской властью вторую, не чтобы ущемить достоинство первой, а чтобы дополнить её авторитетом института в десятки раз более древнего и испытанного. На этих, вторых, качелях – Пётр Алексеевич выглядит зарвавшимся юнцом, ничего слаще морковки не едавшим, соблазнённым мнимыми или настоящими прелестями цивилизации, которая дальше убежала на раньше найденном пути. Попытка догнать предопределяет максимальное достижение бегуна-торопыги – третье место после четвёртого, вторая позиция после третьей, и никогда первая, потому что колея – не своя, а уже проложенная.

Годунов, в отличие от Петра, был способен на постановку крупных задач, вроде патриаршества. И вот тут мы вступаем в область, где есть некоторые редкие доказательства голословных утверждений.



Покровский собор, что на Рву, построен Иоанном IV после взятия Казани. Никакие ухищрения не помогают понять, чем связана военная победа в Казани и церковь на Красной площади, кроме, конечно, предания и военных событий, случившихся в дни памяти тех или иных святых. Значение церкви и значение победы пребывают в разных, непересекающихся смысловых плоскостях. Без навязчивого исторического комментария взятие Казани семантически никак не просматривается – только потому, что замысел её, церкви, превосходил повод (военая победа) в разы или на порядки, она строилась как огромный символ страны, в котором наглядно виден и размер, и святость, и красота, и величие, и прочие неназванные и непостигаемые достоинства – центр и средоточие обитаемого мира, словом, ещё один Иерусалим, где рождались и рождаются новые смыслы, пока старый Иерусалим поругаем от агарян. Митрополит Макарий застал окончание строительства задуманного им собора. При начале строительства ему было около 73 лет, а Иоанну IV Васильевичу – 25. Возрастная дистанция почти в полвека делает его по меньшей мере соавтором идеи строительства собора.



И самое интересное тут – доказанное в начале XXI века (А.Л. Баталов, В.А. Рябов) авторство несомненно европейских (вероятнее всего, итальянских) архитекторов. Кто мог их пригласить? Откуда узнали об их существовании? Как формулировалось задание, то есть чего именно хотели заказчики и почему именно они хотели то, чего хотели, иными словами, откуда в их головах (и в каких это произошло головах, поимённо) появилась мысль построить очень возрожденческий храм, с развитым, взрослым проектированием на основе принципов, которые хочется назвать «научными», храм, в проекте которого симметрия торжествует над иррегулярностью, прозрачный, ясный, «звонкий» ренесансный проект, претворение в жизнь которого украсило бы любой город вселенной?

Строительство храма – затея недешёвая и далеко не безответственная. Ошибаться в этом мероприятии опасно для жизни. Чтобы построить ренессансный храм, надо захотеть построить именно ренессансный храм, чертежи и макеты архитекторов должны соответствовать и удовлетворять вкусам и требованиям заказчиков, свобода воли художника всегда бьётся в клетке, обозначенной и установленной ктитором.

Заказчик видел храм до его возведения и одобрил проект, иначе дело не сдвинулось бы с места.

Как ни крути, куда ни поворачивай – митрополит Макарий и Иоанн Грозный – люди эпохи Возрождения, и вряд ли они одни. Как поместить опричнину в эпоху Возрождения, или наоборот, эпоху Возрождения в опричнину – ума не приложу. Но на Рву стоит Покровский собор.

Правда, разглядеть возрожденческие черты в Покровском соборе непросто. Конечно, на восприятие собора сильно влияет его многотиражная символичность, он – один из символов страны, поэтому он сначала – русский, а уж потом ренессансный. Эту кажущуюся помеху можно превратить в подмогу. В любом здании нельзя отменить или игнорировать фундаменты и основные объёмы – они и определяют более всего остального стилистическую принадлежность здания (если в нём есть архитектурная, а не только инженерная составляющая). Прозрачная, простая, симметричная ясность конструкции Покровского собора не исчерпывает, но хотя бы начинает список его ренессансных черт, и отменить или не заметить этого нельзя. Тогда, проведя вертикальную черту на листе бумаги, слева пишем возрожденческие черты, справа – символические, то есть русские. Чуточку даже, по правде сказать, страшновато. А вдруг и правда получится? Немного напоминает трёхсотлетней давности просвещенческие попытки вычленить, уловить и ткнуть пальцем в национальные характеры жителей иных стран, как правило, чувством нарочного или непроизвольного превосходства над иноземцами. Но в данном случае попытка предпринимается изнутри, и просто из любознательности.

Последнее отступление перед тем, как перейти к сути.

Художественнный и научный способы познания почти не отличаются, и там, и там – главной пружиной и причиной служит способность к воображению, к фантазии, к измысливанию того, что не бросается в глаза или вообще неразличимо. Может быть, оно и не видно, но вполне могло бы быть, причём особливо ежели чего, то не иначе как так. Поэтому «фотографии» XVI века, сделанные пионером реконструкции, ничуть не меньшим, чем Эжен Виолле-лё-Дюк, – В.А. Рябовым, представляются нам столь же твердокаменным и полноправным доказательством, как сам каменный собор, они (реконструкции) опираются на тщательное натурное изучение объекта, соединённое с исследованием архивных свидетельств разного рода.

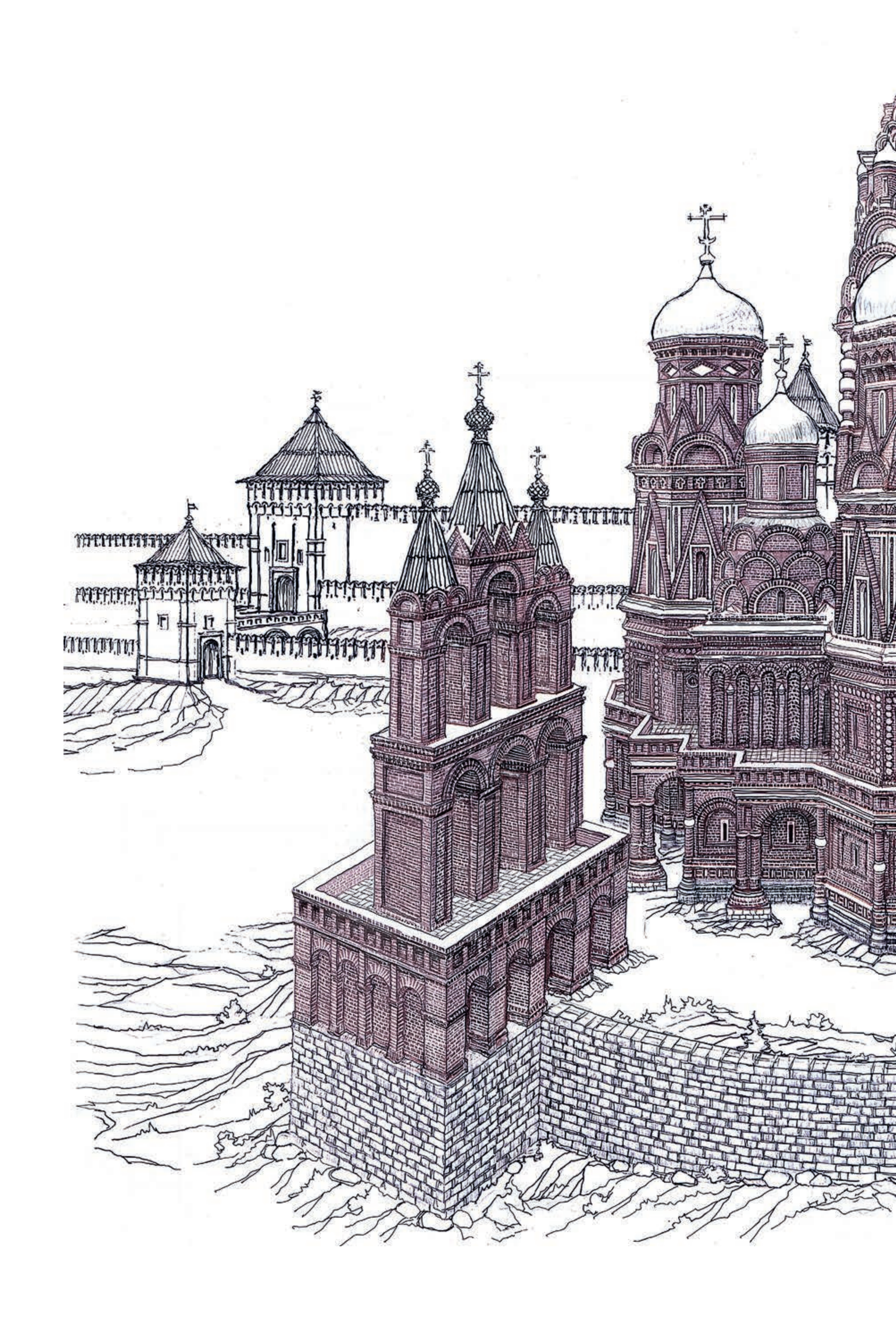
И это утверждение имеет неожиданное доказательство. На реконструкциях В.А. Рябова присутствует церковь Василия Блаженного (1588 г.). Приблизительное изображение есть в «Книге об избрании на царство Михаила Феодоровича», но подробность – примерно такая же, как на клеймах икон, то есть написано только то, что позволяет идентифицировать объект как церковь. Нынешний её облик не соответствует ничему – это остатки объёмов, подвергнутые ремонту «как получилось». На «фотографиях» В.А. Рябова изображены 24 кокошника по сторонам света (в два яруса), восемь под барабаном, и наконец, 33-я округлость – глава. Изображены так, как должно было бы быть, потому иначе быть не могло. Примерно такая же церковь, с тем же числом «33» (число есть и в Нижнем, и в Ярославле, но иная конструкция), была через несколько лет поставлена над воротами в серпуховском Введенском монастыре. Не исключено, как уже говорилось, что от здешних горок пошло выражение «горка кокошников» – раньше они, как правило, окружали шатёр, теперь подпирают барабан. Для нас важно, что художественно-историческое видение, скреплённое числом «33» в Москве и в Серпухове, полностью узаконило реконструкцию В.А. Рябова. Действительно, иначе быть не могло.

Теперь об архивных планах 1780 года.

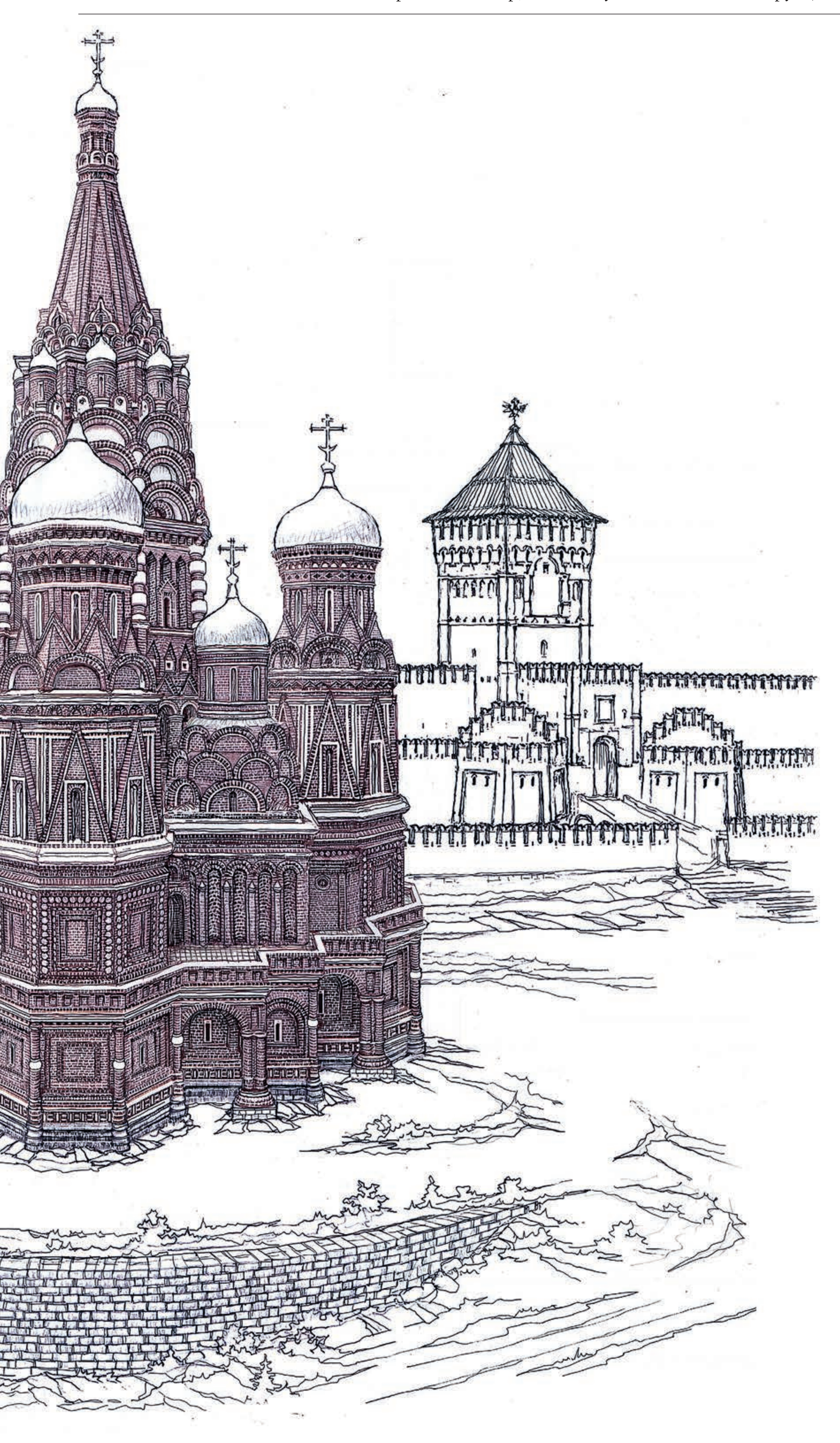


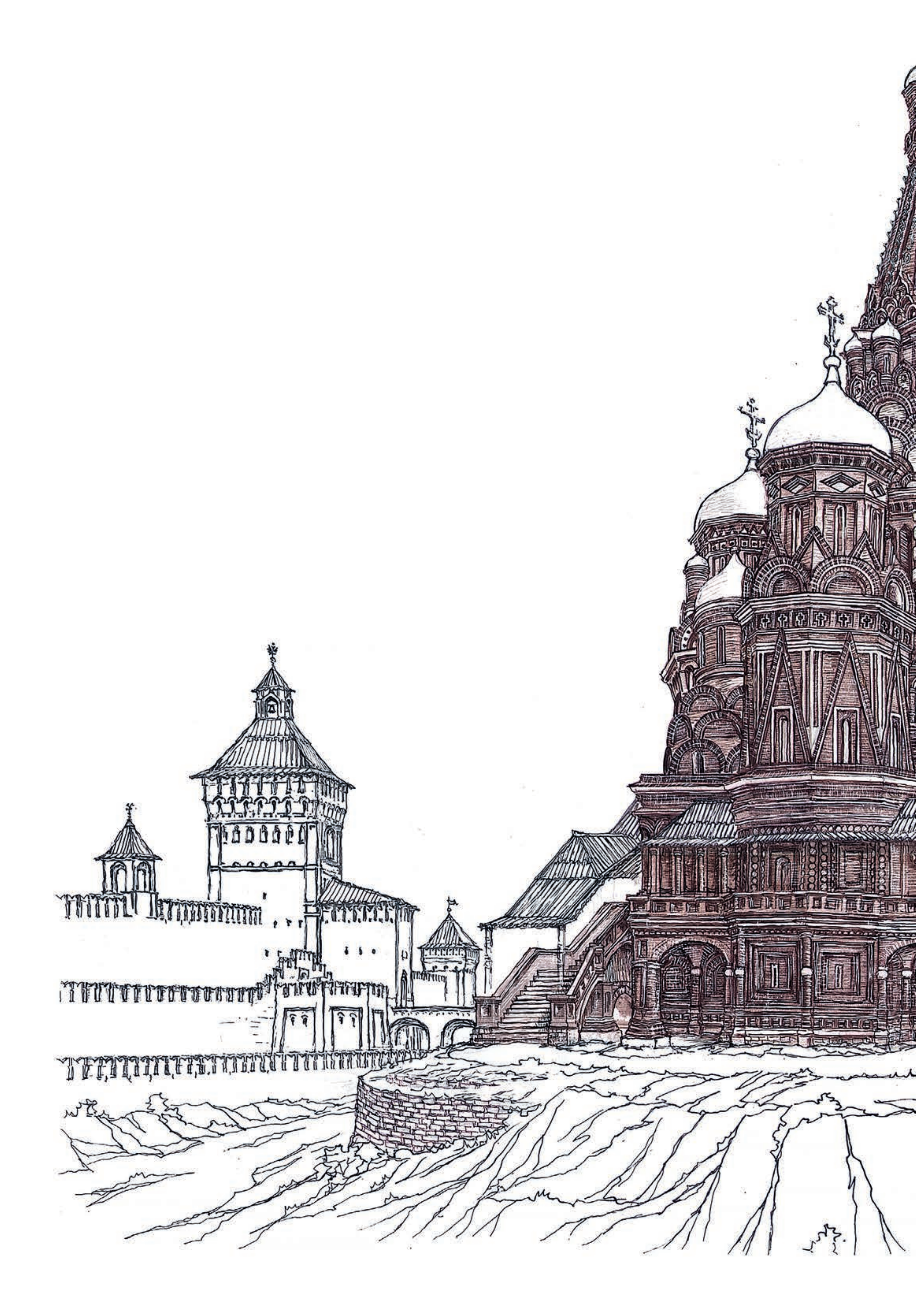
На первом этаже ничего вообще разобрать и понять невозможно, вероятно, это цокольные продолжения фундаментов, заложенных теми, кто уже знал, что вырастет сверху, сколько это верхнее будет весить, какие тут гидрогеологические условия, нет ли рек и плывунов и куда будет стекать тающий снег в апреле. План второго этажа возвращает самообладание и веру в людей. Вот серединка, вот четыре штуки по углам и ещё четыре между ними, всё ровно расчерчено, и задумано, лестницы ещё, чтобы подняться на высокий второй этаж. Тот, кто придумывал, был голова учёная, так без привычки не выдумаешь, уметь надо так далеко думать. Если долго смотреть на план, можно стать анализатором. Там, где царит правильность и понятность, где восемь предметов окружают один побольше в середине, всё ясно и прозрачно – но отчего это у них у всех одна общая черта, почти у всех по три входовыхода, причём в некоторых стенах на плане нет ни дверей, ни окон. Можно было бы подумать, что это церковь или церкви, но, помилуйте, где же алтарные выступы, где апсиды? Только в центре что-то похожее есть. И третий этаж облегчения не приносит. Ладно, пусть это всё будут церкви, собранные в кучу, входы-выходы есть, а в одной стене нет, потому что там без выступов, но алтарь, Царские врата, иконостас?

И люди, которые откуда бы то ни было подходят к Покровскому собору, что на Рву, ни сном, ни духом не ведают, куда там смотрят алтари, и есть ли они вообще. Первая и неотменимая мысль при взгляде на собор – пестрота, несчётное число больших и малых разнообразностей, стянутых в одну стройность невидимым кушаком, вместе и порознь утверждающих одно впечатление: собор – праздник, вблизи и издалека, с северо-запада и юго-востока, кто бы и откуда бы ни смотрел, праздник для всех и всегда, куполами и гульбищами, кокошниками и треугольниками, шатрами и башнями, подробностями закоулков и общей махиной, тем, что Ф.М. Достоевский скоро назовёт «всеобщей отзывчивостью». Тадж-Махал и Вестминстер нельзя назвать бесшабашными, а здесь ѝдали – хоть отбавляй, широк русский человек, и обуживать не надо, на всех хватит.

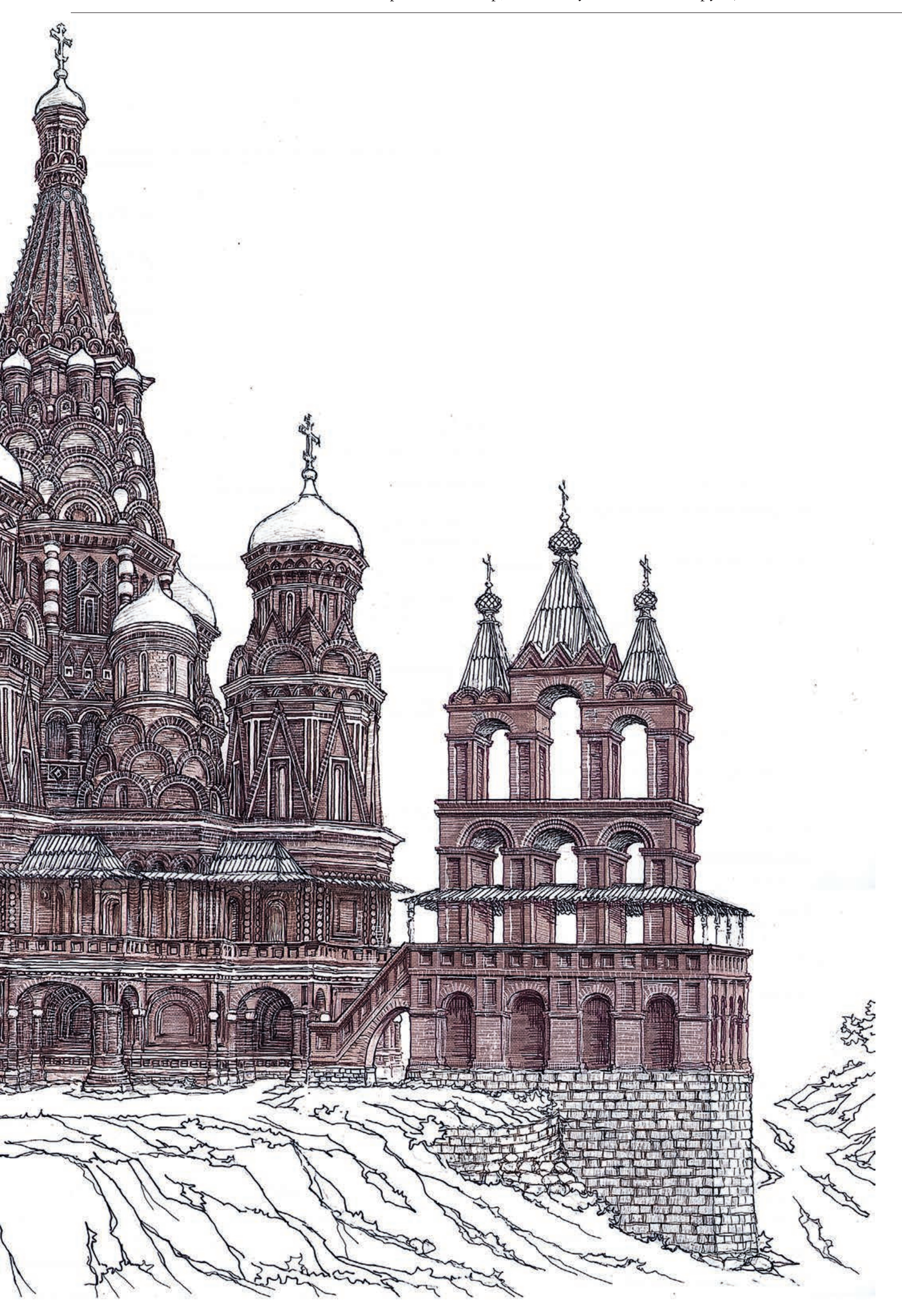


Покровский собор, что на Рву с востока. Реконструкция на начало 60-х годов XVI века.

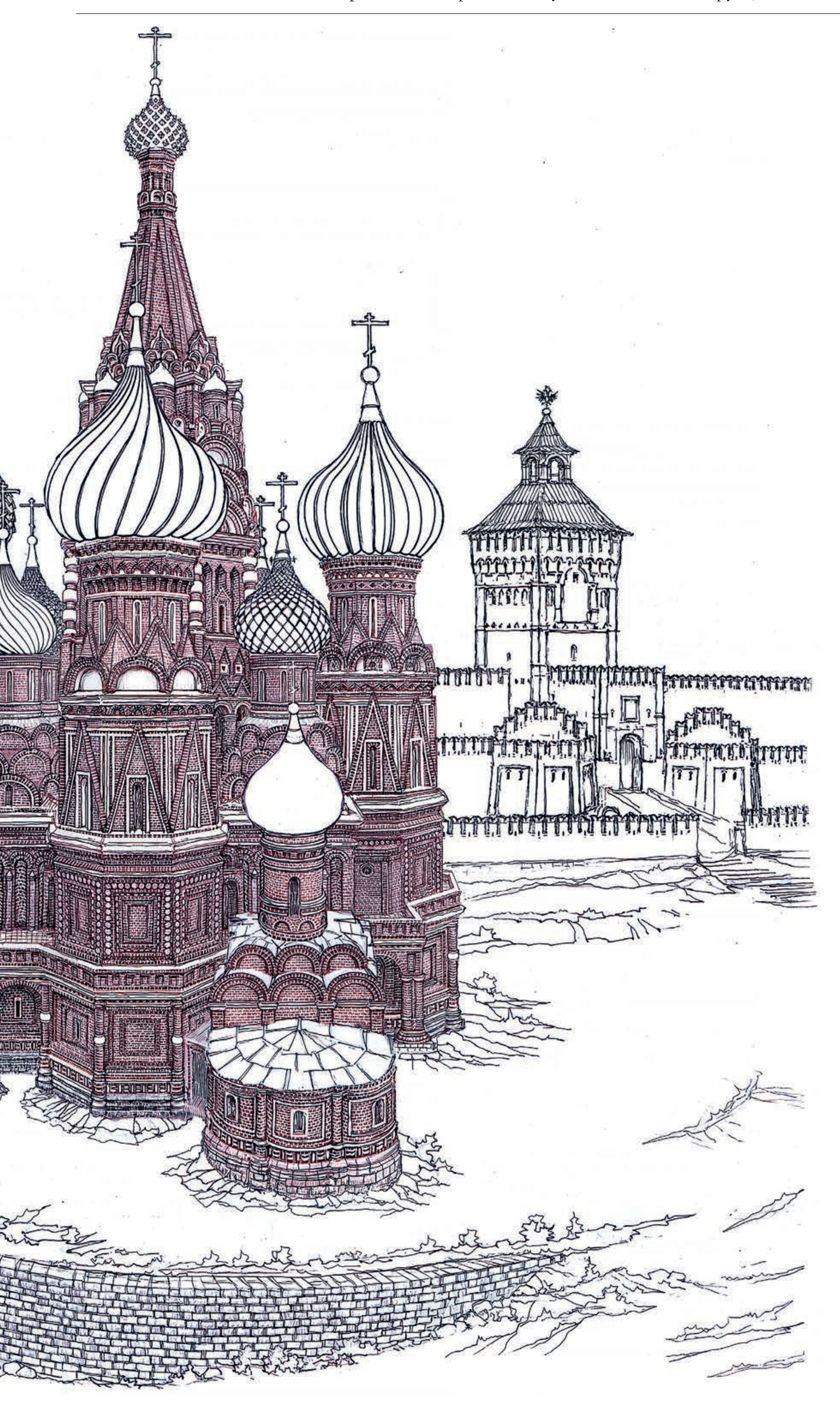




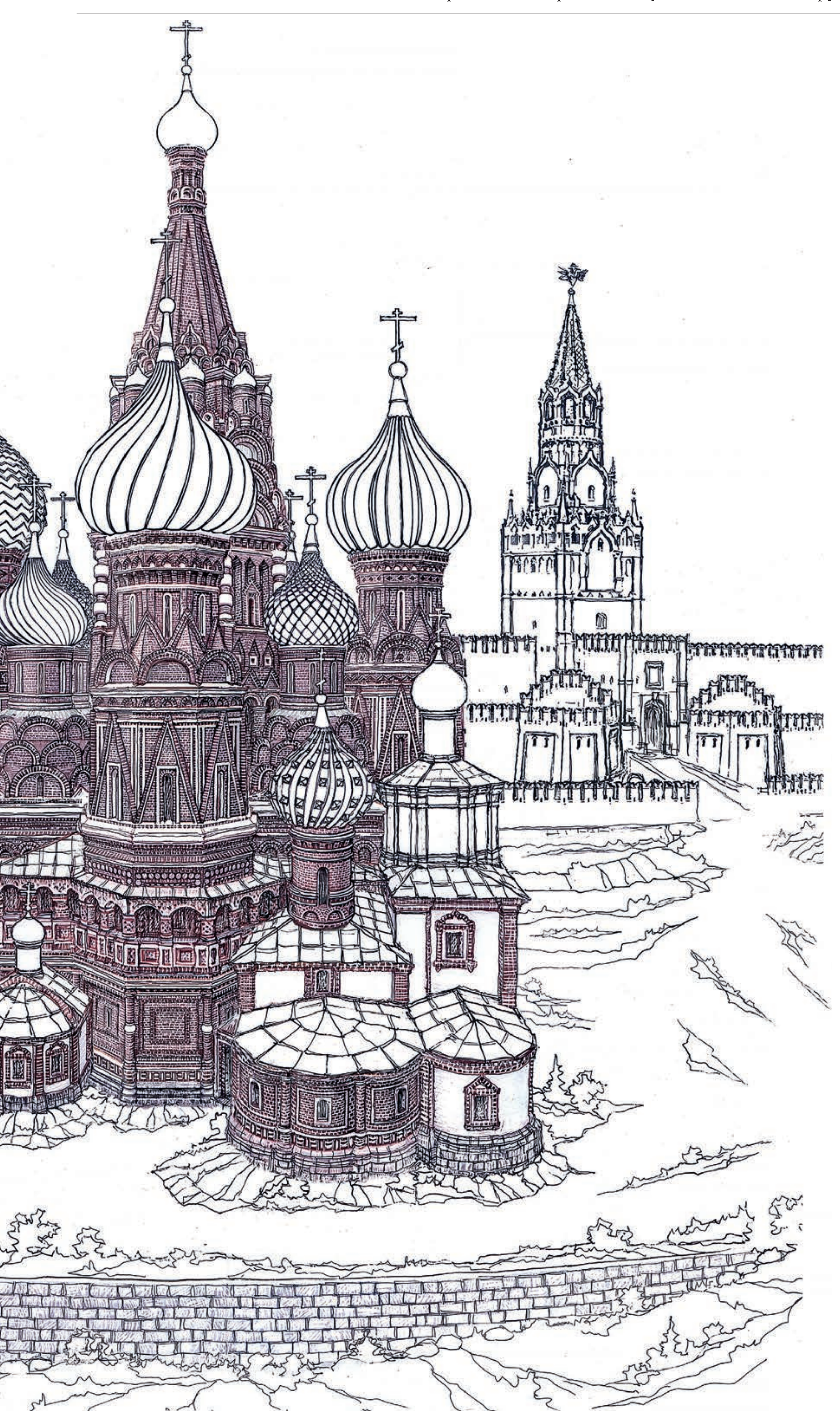
Покровский собор, что на Рву с юга. Реконструкция на начало 60-х годов XVI века.

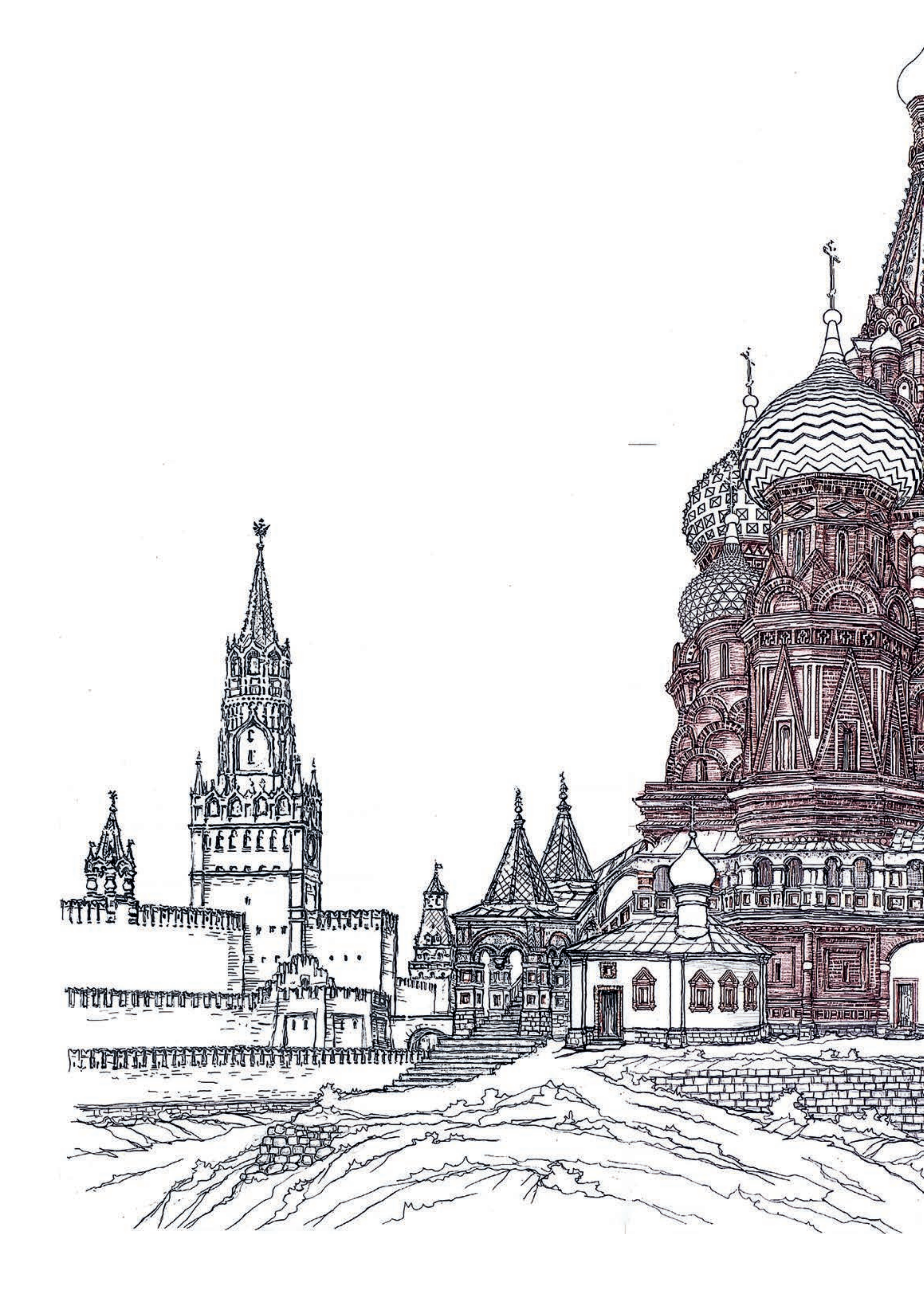


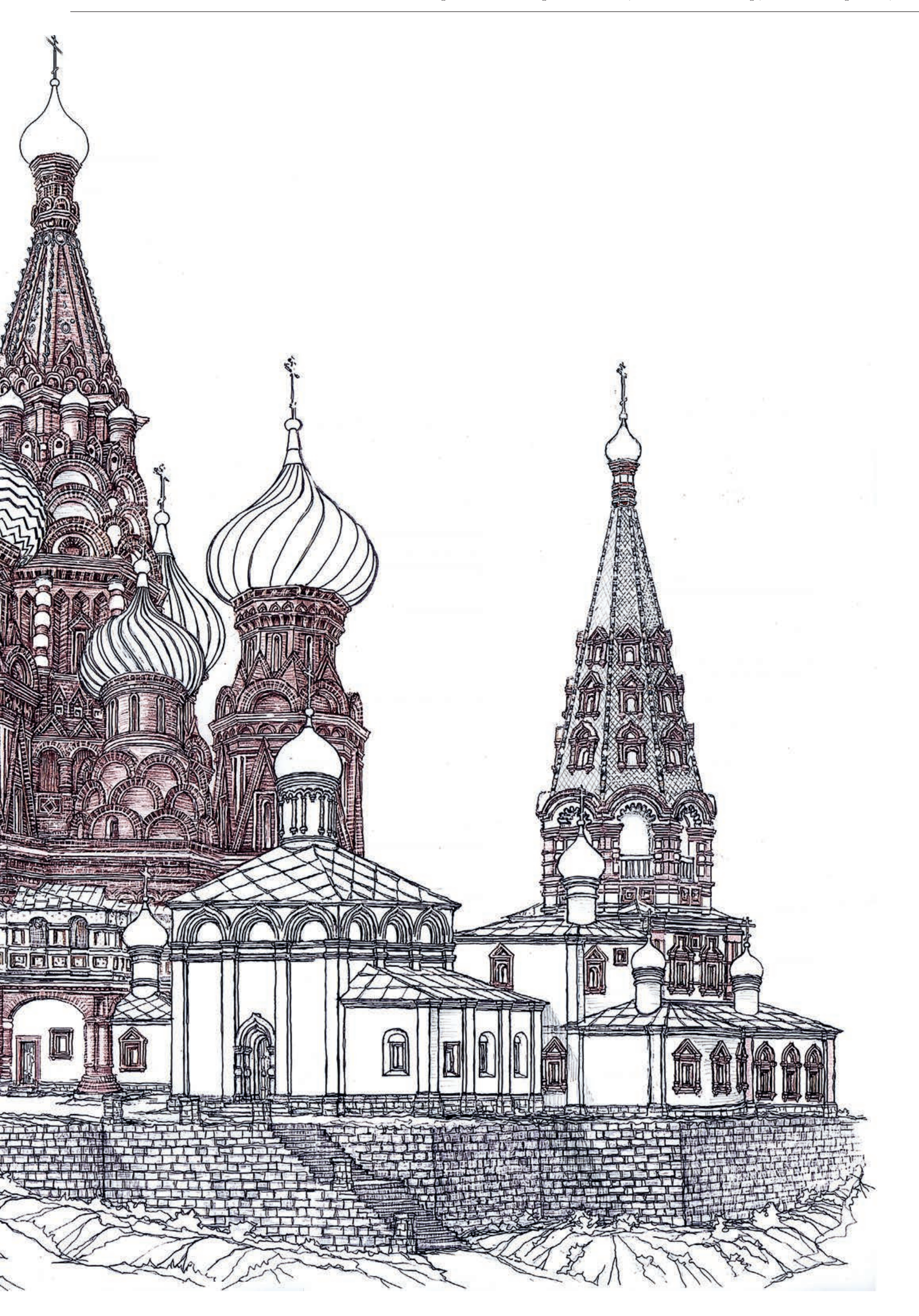


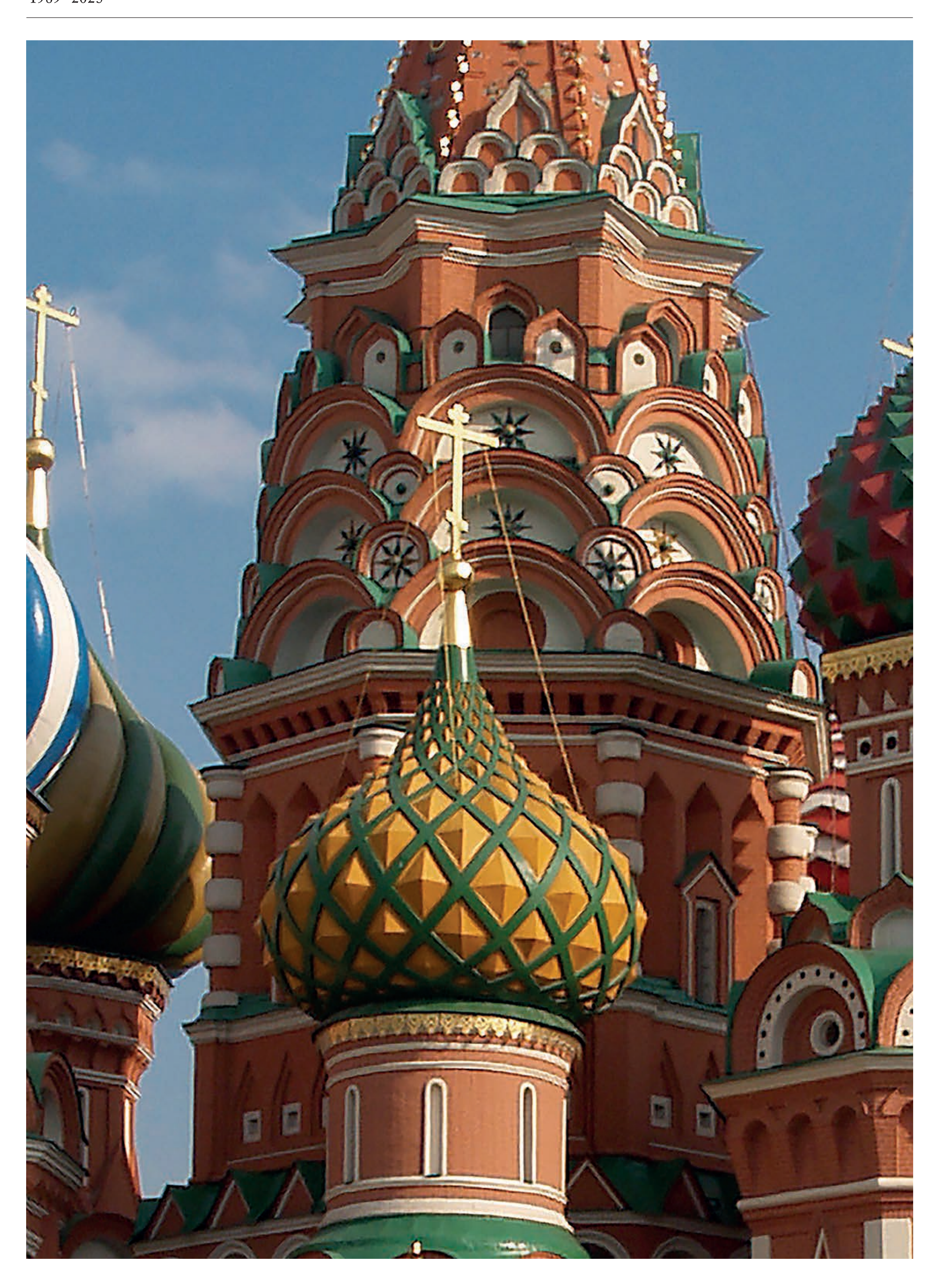












А по планам судя, так и не скажешь. Там всё ровно и симметрично. Да полно, те ли это планы? Может, пока строили, по дороге всё переменили, не всматриваясь в фундаменты, чтобы вот именно праздник нарисовать камнем? Нет, брат, шалишь, такими объёмами не пожонглируешь, с руки на руку не покидаешь, прилаживая куда-нибудь половчее. Первое и самое простое, что становится ясно при сравнении планов и действительности – перемена цели. То, что сознательно, настырно и специально, с умением и пониманием, из лучших побуждений и с успехом делали первостроители, оказалось невостребованным. Симметрия была – и пропала, несмотря на принуждение фундамента.

Взгляд с востока могучей рукой перекидывает всю картинку во вторую половину XVI века, где у Фроловской башни на заднем плане ещё нет часов и шатра, где к востоку от собора стоит не то псковско-новгородская, не то и вовсе генуэзская аркада звонницы, где шлемолуковицы куполов ещё не завиты модным разноцветным декором, к которому все привыкли, и который пытались повторить в Нижнем Строгановы (Рождественская), в Питере Парланд (Спас на Крови), в Белой Кринице Кузнецов (Успенская), в Ижевске Чарушин (Александро-Невский собор) и в других местах (надвратная Спиридона Тримифунтского в Николо-Сольбинской пустыни – Будько), и пытались вполне успешно, убедительно, ошеломительно на первый взгляд, и на второй. А вот уже третьему взгляду чего-то начинает не хватать, причём чем дальше, тем больше. Всё есть, всё правильно, ни один элемент не упущен, стоит на своих местах, пропорции, свет, соразмерность – всё на месте, как у Н. Султанова. Сколько ни думай, чего именно не хватает, только одно идёт на ум: баловства, доходящего до расхлябанности, удали, доходящей до безрассудства, всё должно быть правильно, но немножко неправильно – какая-то мушка должна сесть на лицо, чтобы облик вспыхнул свежестью, задором, румянцем, чтобы улыбка стала заразительной; они все, как у Н. Мордюковой: «Хороший ты мужик... Но не орёл!». Там нет симметричной основы изначальной идеи, нет могучей инъекции возрожденческой, почти античной простоты конструкции. На «фотографии» В.А. Рябова хорошо видна эта сложная простота. Сложной простота стала потому, что трудности, которые всегда появляются во время строительства крупных объектов, были по большей части преодолены ещё на этапе проектирования, были пред-усмотрены. Собор, стоявший на Красной площади после шестидесятых годов XVI века, не просто хорош, он безупречен. Торжественный гимн симметрии написан и исполнен виртуозно, даже при желании (которого нет) нельзя отыскать изъян, ни одного упрёка, хвалить устанешь. Разве что… Открытая галерея на втором ярусе – это ещё не гульбище, а именно галерея. Кто же мог знать, что на галерею зимой на целых полгода навалит полсажени снега, ни ногами не пройти, ни на санях не проехать.

А праздника, при всём совершенстве и безупречности, нет, ещё не появился.

Сначала до рубежа веков попробовали сверху – сделали химическую завивку, «перманент», причёска стала попышнее, даже фигура постройнела. В целом стало наряднее. В течение XVII века как-то сам собой получился праздник, который длится по сей день, несмотря на потери.

Не Иван Грозный, и не итальянцы или другие европейцы построили этот праздник, а непрерывные взаимодействия, долгие приспособления и последовательные улучшения двух веков. Про XVI век все всегда помнят – шедевр, упавший с неба. Он и правда, упал, как с неба, но его потом веками доводили до ума. И довели.

И если дать себе честный отчёт, то праздник образовался из-за необязательности, несимметричности, непоследовательности, нерегулярности, отличий и множественности декора, даже, можно сказать, разнузданности и случайности. Вдруг оказалось, что неправильность правильно отражает и соответствует каким-то струнам характера жителей и посетителей. Стохастика Ренессансу не помеха.

Неужели вот именно это понадобилось для «всемирной отзывчивости»? Или она сама является оборотной стороной скоропереимчивости, способности учиться и жадности впитывать, приспосабливаемости не просто лёгкой, а прямо-таки с удовольствием, влёт, до конца и дальше оригинала?

Смутное время отложило, но и законсервировало на весь XVII век возрожденческие интенции Макария, потом Годунова, потом Михаила и Алексея, Никона и Ионы, окружения Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны.

Чтобы повернуть лошадь, проще всего потянуть за повод, шенкель – для умельцев. Пётр Алексеевич сначала руками повернул свою голову в сторону от Возрождения, потом и страна за ним – он торопился догнать, доскакать до Просвещения, но потерял по дороге достоинство, и своё, и народа, превратив почти всё население в безликую массу, причём потерял так прочно, что три-четыре столетия после него не дали уверенности, что достоинство восстановилось; если и восстановилось, то у староверов. Достоинство – редкая «эпизода», часто прямой перевод мешает понять: честь не имеет ничего общего с гонором, задранный нос – не достоинство, а гнусный характер.

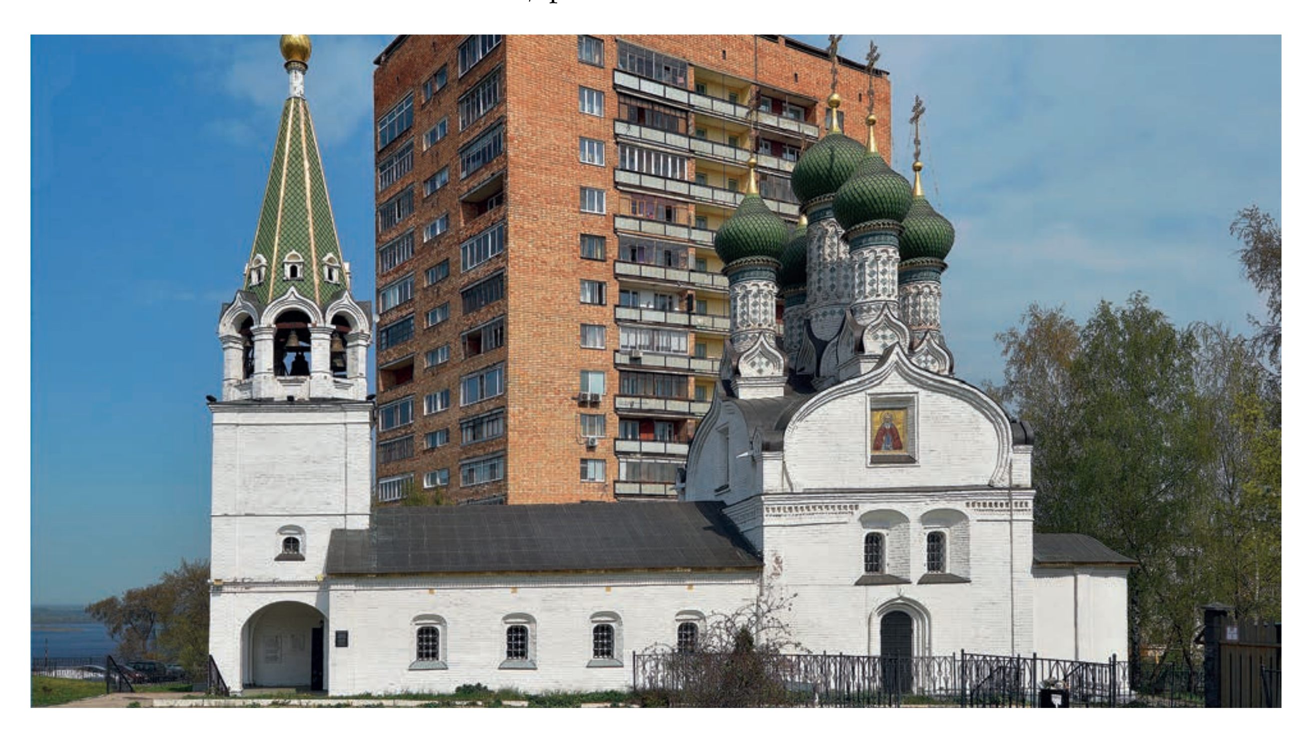
Невозможно поверить. Ну не может быть, что А.Л. Баталов не сосчитал, и все остальные, за столько лет! Или, скорее, все прекрасно сосчитали, но помалкивают: чего болтать-то, умный сам рассмотрит, сам поймёт, сам сопоставит, и это будет его открытие, его драгоценная тайна, а менее наблюдательный не увидит, да ему и не надо, пусть так живёт, как уж получается. Это очень верное намерение, пусть живёт. Но ведь хуже никому не станет, даже ленивому дурню из ЦПШ или ВПШ, если пальцем показать, напомнить, объяснить, что к шестнадцати большим кокошникам, которые трудно не заметить, надо прибавить шестнадцать малюсеньких кокошничков, притулившихся в углах больших, и не забыть про главу, которая родственна кокошникам – вертикальное сечение главы и есть кокошник, отчего же и не прибавить к тридцати двум. Получившееся число «33» как-то присутствует в разных нумерологиях, но многим всё-таки прежде другого напомнит о числе земных лет Иисуса Христа. Не напрасно где-то рядом с церковью живёт мысль, что «Мысль изреченная есть ложь»: словами как ни изощряйся, сути-то и не передашь, одному одно станет внятно, другому другое, а кто-то и вовсе чистенький уйдёт, незатронутый; бывает и так, что после часового рассказа о том, какое оно всё зеленое, с оттенками, то яркое, то блёклое, то в брезент, то в берёзу, – половина уходит с твёрдым пониманием жёлтого. Слова требуют понимания и втолковывания,



а глазам верить легче, даже без герменевтики и семантики, совсем. Память могут толкнуть слова, если они правдивы и искусны, может образ, нарисованный или вышитый, даже вылепленный или вырубленный, если получилось похоже, а с числом, с двумя цифрами под титлом (Люди и Глаголь, лг, начало глагола 'лгати', недалеко от старого слова 'logo', и от 'логистики', и от 'логики', и от 'лжи', и от 'поклажи') не так всё просто. Разве про Него толком можно сказать, кто такой, или что такое, обязательно же в рассказе что-то не поймёшь, что-то упустишь, где-то от малоумия и приврёшь для красоты. Изрёк=соврал, то есть солгал. Как бы вот так сказать, чтобы не лгать, без слов и даже без мыслей, сразу, одной таблеткой положить в рот – и дальше рассасывай, как умеешь, ни опыта жизненного не надо, ни особого образования, ни знания языков и алгоритмов с производными третьего порядка, действует на те области сознания, которые на самом донышке, самые старые, даже примитивные, как обоняние; запах, унюханный полвека назад, сидит в памяти крепче, чем слово или даже стихотворение, услышанное 50 лет назад, крепче, чем увиденный в незапамятные времена образ, который можно часами мучительно вспоминать, и так и не вспомнить. «33» – это то самое генетически наследуемое приобретение, которое невозможно в правильной генетике и навеки опозорено Т.Д. Лысенко, как запах и вкус еды, съеденной кем-то триста лет назад, как напряжённый поворот дезоксирибонуклеиновой спирали в коде человека, спирали, от которой чуть ли не всё зависит в жизни, и не совсем всё – только потому, что он и сам может её гнуть.

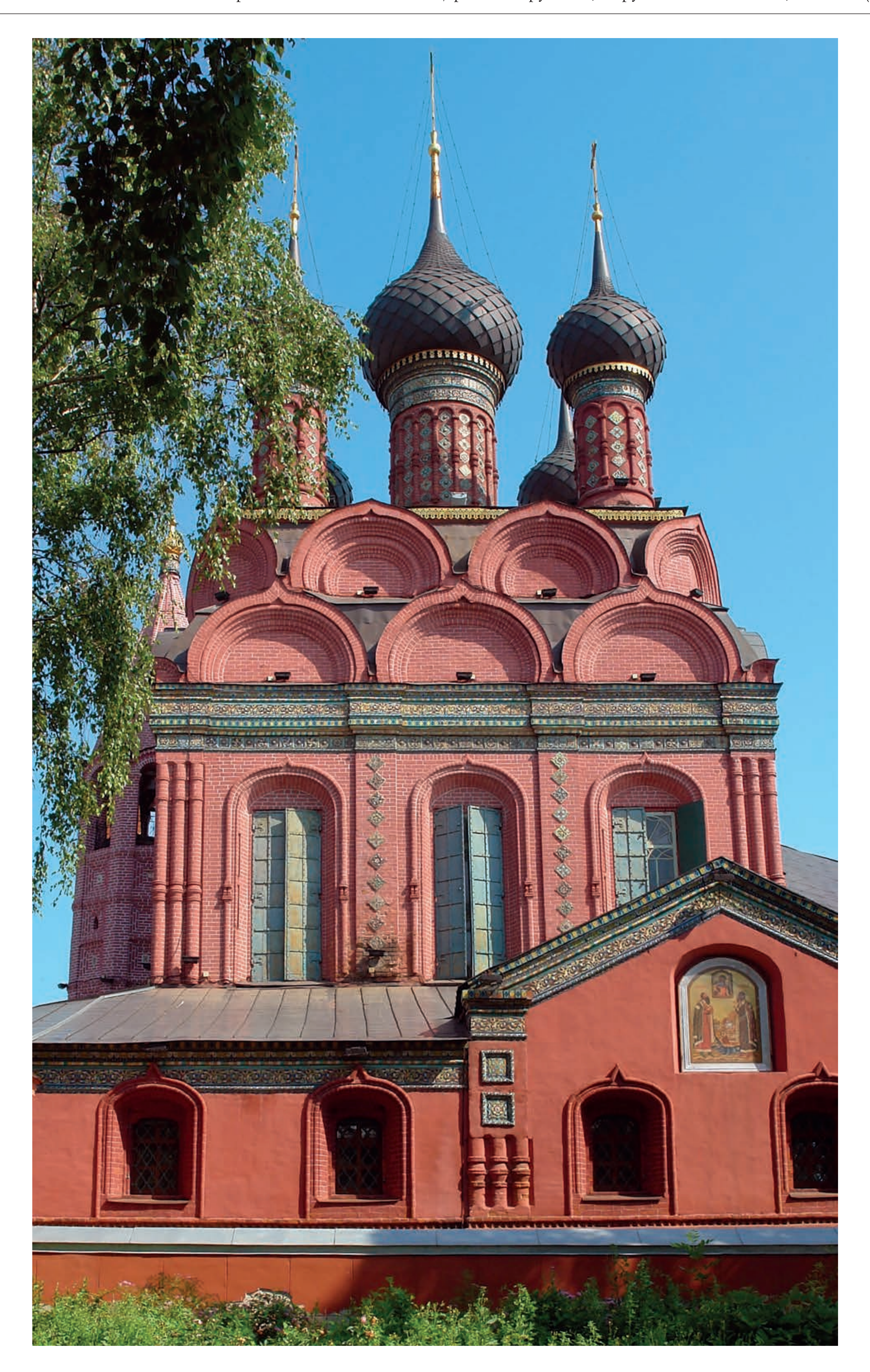
Из того, что лежит на поверхности, без специального исследования:

- Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире (1202 г.);
- Алексиевская (потом Распятская) церковь в Александровской слободе (1513 г.);
- придел Василия Блаженного в соборе Покрова, что на Рву (1588 г.);
- Рождественская церковь в Беседах (1599 г.);
- надвратная церковь Феодотия Анкирского в Серпухове (1599 г.);
- Богоявленская церковь в Ярославле (1693 г.);
- Никольская церковь. Успенский монастырь в Свияжске. (1556)
- церковь Успения на Ильинской горе в Нижнем Новгороде (1672 г.);
- Преображенская церковь в Кириллове (1595 г.);
- Богоявленская церковь в Красном на Волге (1595 г.);
- колокольня Ивановского монастыря в Казани;
- колокольня Воздвиженской церкви в Казани.

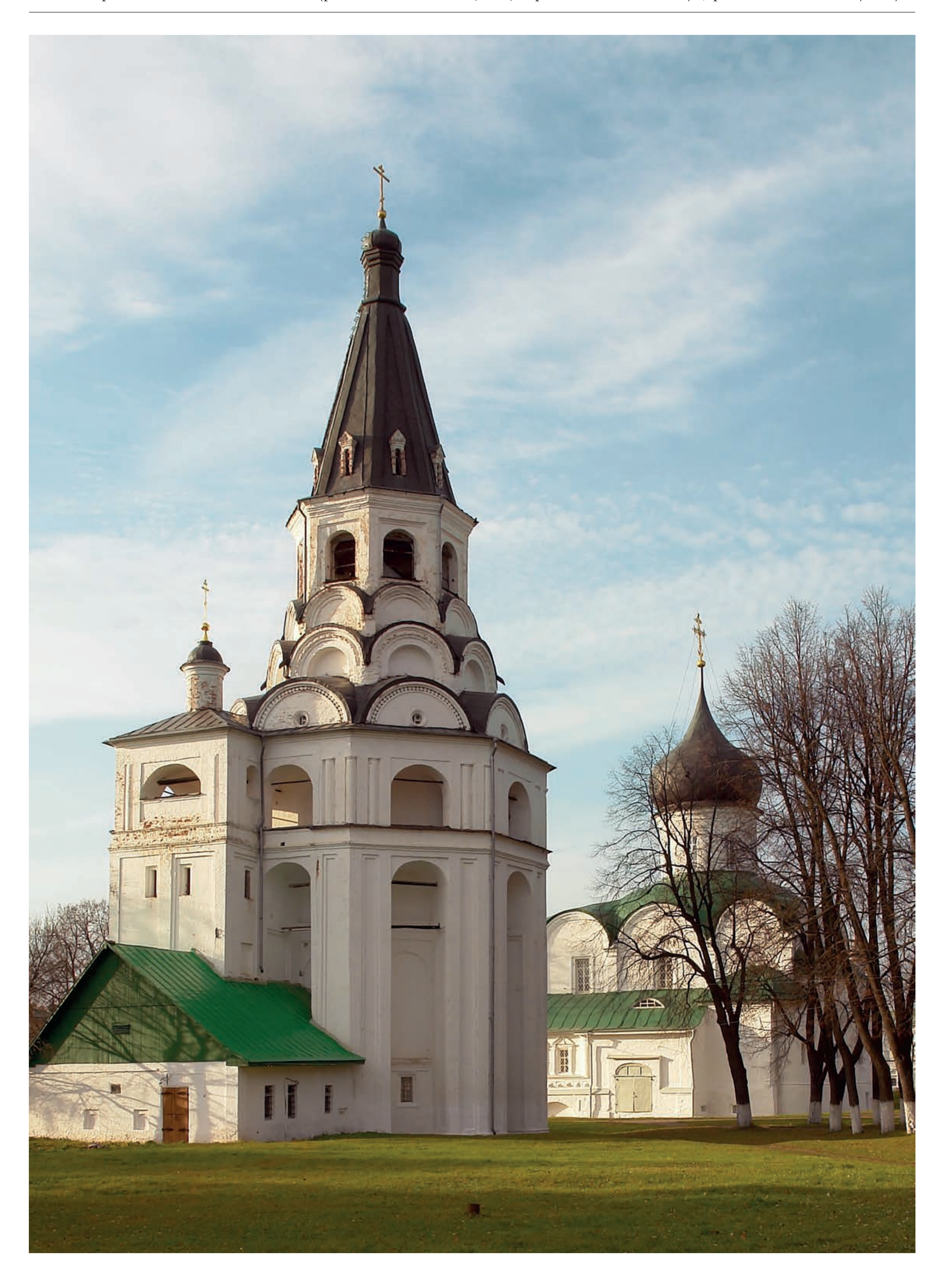


Нижний Новгород. Успенская церковь на Ильинской горе (1672).

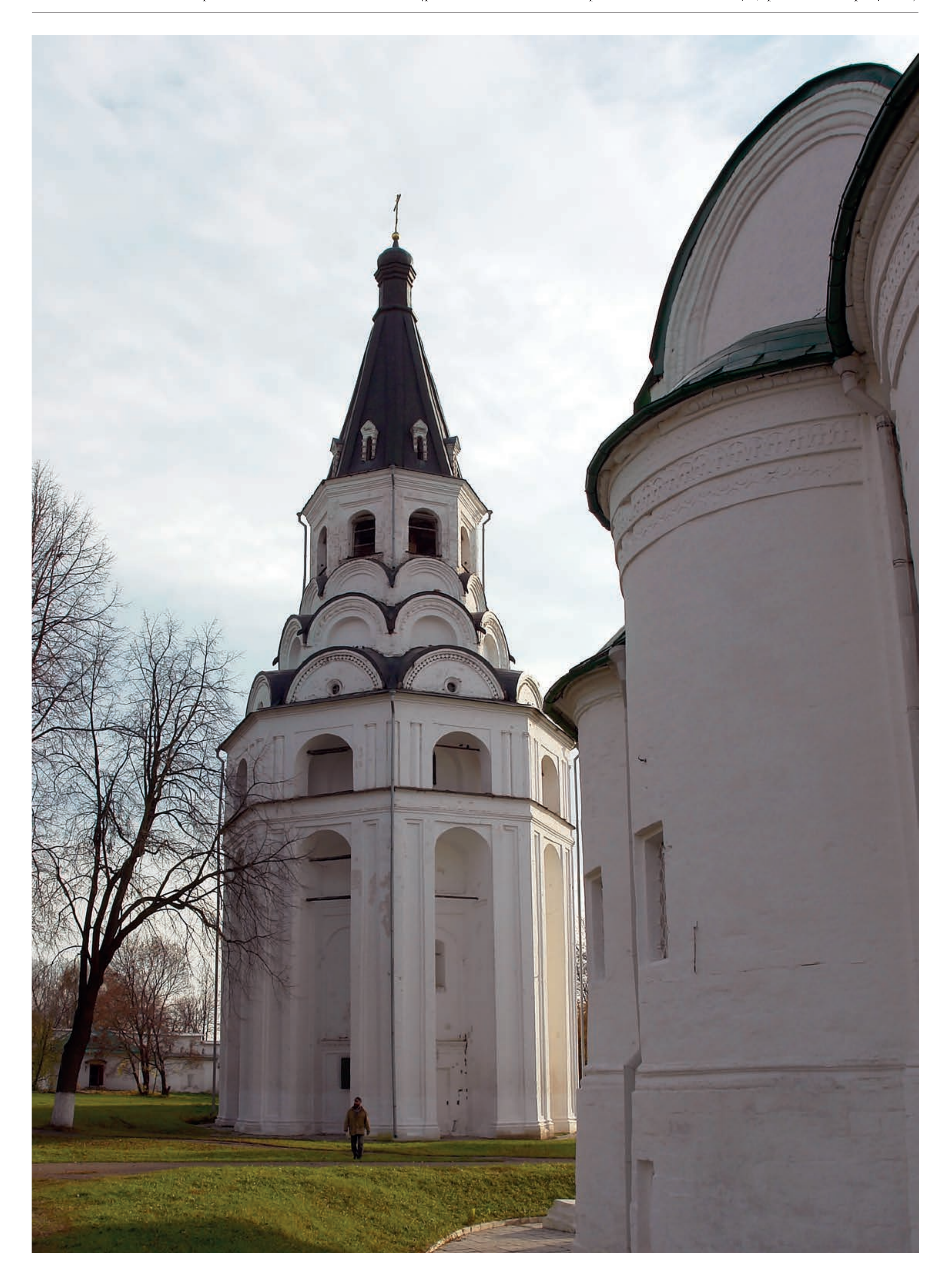




Александровская слобода. Распятская (ранее Алексеевская {1513}, Крестовоздвиженская) церковь с юго-запада (1570)



Александровская слобода. Распятская (ранее Алексеевская, Крестовоздвиженская) церковь с севера (1570)



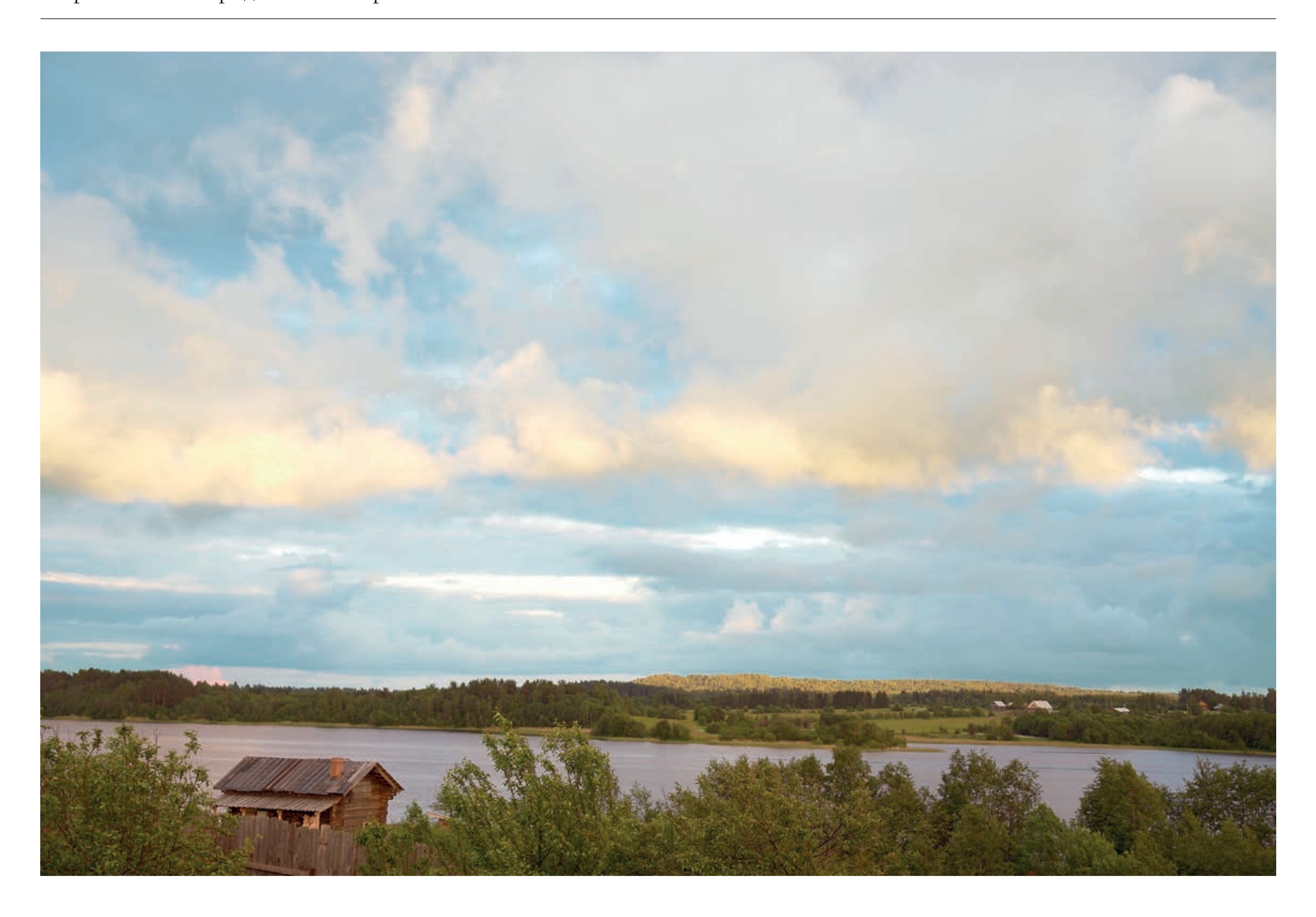






Из двенадцати почти половина – времени годуновского управления. Нижегородская – поздняя и славна тем, что число в ней замаскировано так поразительно ловко, что три с половиной века народ смотрит на то, что ему показывают, и не видит того, что показано. Слова̀ «уникальное бочковое покрытие на четыре лица» сопровождают буквально все упоминания в литературе любого качества об Успенской церкви. А между тем его там нет. На западной и восточной сторонах – по три кокошника, которые размерно соотносятся как слон и две мышки; и тем не менее это по всем сторонам света – четыре больших кокошника и четыре малюсеньких. Выше пять барабанов, у основания которых по четыре кокошника, сумма нарастает уже до двадцати восьми. Осталось прибавить пять глав, и, как в сказке, появляется число «33», достаточно просто признать, что между формой главы и формой кокошника есть некое родство, схожесть, конгруэнтность, близость очертаний.

Начало было положено в незапамятные времена (1202 г.), в Успенской церкви Княгинина монастыря во Владимире. В Александровской слободе вертикальным бревном в глазу торчит Распятская церковь, хотя и с некоторой, даже с большой, натяжкой. Дело в то, что на её шатре всё-таки не 32 кокошника, а 24. В.В. Кавельмахер был уверен, что надстроенная до высоты 50 метров церковь масштабировала формы Алексеевской церкви 1513 г., и форму кокошников тоже, с круглыми окошками в нижнем ярусе. Чему только не уподоблялись формы кокошников: вертикальное сечение главы-луковицы, тарелка в сушилке, отрезанное снизу яблоко, рыбья чешуя, шишкины чешуйки, ещё не распотрошённые белкой, наконец, просто глаз, с верхним веком, иногда опушённым орнаментальными ресницами. Во втором и третьем ярусе окошек нет, а в первом их наличие усиливает подобие глазу, как бы удваивает его. Этих снабжённых окнами кокошников в нижнем ряду восемь. Если зрачок и впрямь удваивает глаз, кокошников становится в вертикальном последовании на каждой грани четыре. А граней восемь. В.В. Кавельмахер не первый, кто удивлялся «экстравертности» церкви и трудноуловимости её назначения. Огромный наружный размер и малая площадь молельного помещения (мартирий и не должен быть обширным), колокольня с обходом по периметру гульбища не снабжена подвесами в центре для



больших колоколов, столпы под гульбищем устроены такие, что могут выдержать ещё две колокольни сверху, это могучие конрфорсы, к которым впору прислонить ниспадающие аркбутаны, словом, всё говорит о том, что церковь должна больше работать наружностью, чем внутренностью, она скорее не для тех, кто внутри, а для тех, кто снаружи, откуда как раз и удобно дивиться конструкции.

Конечно, этюд с удвоением не очень убедителен, скорее бездоказателен. Однако же под нынешними кокошниками могут оставаться и старые, ещё начала века, хотя и трудно предположить, на какой высоте, и неизвестно, сколько их было: три в вертикальном ряду, или четыре. В 1513 г. пусть маленький, но шатёр, вероятно, был. От второй половины века сохранилось немало таких шатров, самый пострадавший из устоявших – в Балахне, на подворье нижегородского Благовещенского монастыря. Церковь Петра Митрополита в Переславле-Залесском счёт кокошникам (40) если и вела, то с каким-то другим смыслом, пока неустановленным, как и шатёр Покровского собора, что на Рву. А вот в Успенском соборе Княгинина монастыря Владимира сомневаться трудно. Травма первой половины XIII века оказалась настолько сильной, что лишь в XVI веке, во второй половине начали потихоньку вспоминать не лезущий в глаза молчаливый смысл Успенского собора..

Шесть оставшихся церквей – годуновские и совсем (в отличие от Распятской) бесспорные. Богоявленская в Красном на Волге – частичное повторение пузатого шатра Покровского собора на Красной площади (там, правда, к чистому счёту примешались восемь кассет по пять очень малоразмерных элементов декора, тоже подсмотренных в Москве, но они отделены двумя карнизами, и их вообще считать не хочется).

Семантический взрыв годуновской архитектуры необъясним, но непонимание причин не отменяет правильности наблюдения: при нём число «33» стало попадаться





чаще. Чтобы это доказать с некоторой уверенностью, уже без колебаний, прибегнем к примеру, совершенно неочевидному, даже поначалу наоборот, очевидно абсурдному.

На крайнем юге, совсем на берегу озера у Кирилло-Белозерского монастыря в XVI веке (или чуть раньше) были устроены Водяные ворота, над которыми в 1595 году при старце Леониде Ширшове построили настолько неожиданную, необычную церковь, что все другие «необычные», даже какие-нибудь сверхзнаменитости, вроде Вознесенской в Коломенском, становятся меньше в размере, цвета немного приглушаются, крики восторга удаляются и в тишине начинают понемногу, как бомбы, взрываться вопросы.

Снаружи, с воды, видна стена и кокошники над стеной, с узором, немного похожим на тот, что украшает в Ферапонтове Рождественский и немного Благовещенский соборы, окна с глубокоспрятанными деревянными переплётами, киот с иконой, укрытый от дождя, на здоровенном здании, построенном в считанных метрах от воды; было два проезда, остался один, за открытыми почти всегда воротами. Вроде церковь как церковь. Но если пройти сквозь стену, глаз начинает копошиться в памяти. Прямоугольные апсиды? Что-то похожее есть в Борисоглебском под Ростовом, в Высоцком в Серпухове гранёные, в Переславле в Троицком тоже гранёные апсиды, кажется, ещё где-то, а где – память молчит. Но высота! Понятно, что нижний уровень из-за проездных ворот приподняли, сколько могли, так, что крыши апсид упёрлись

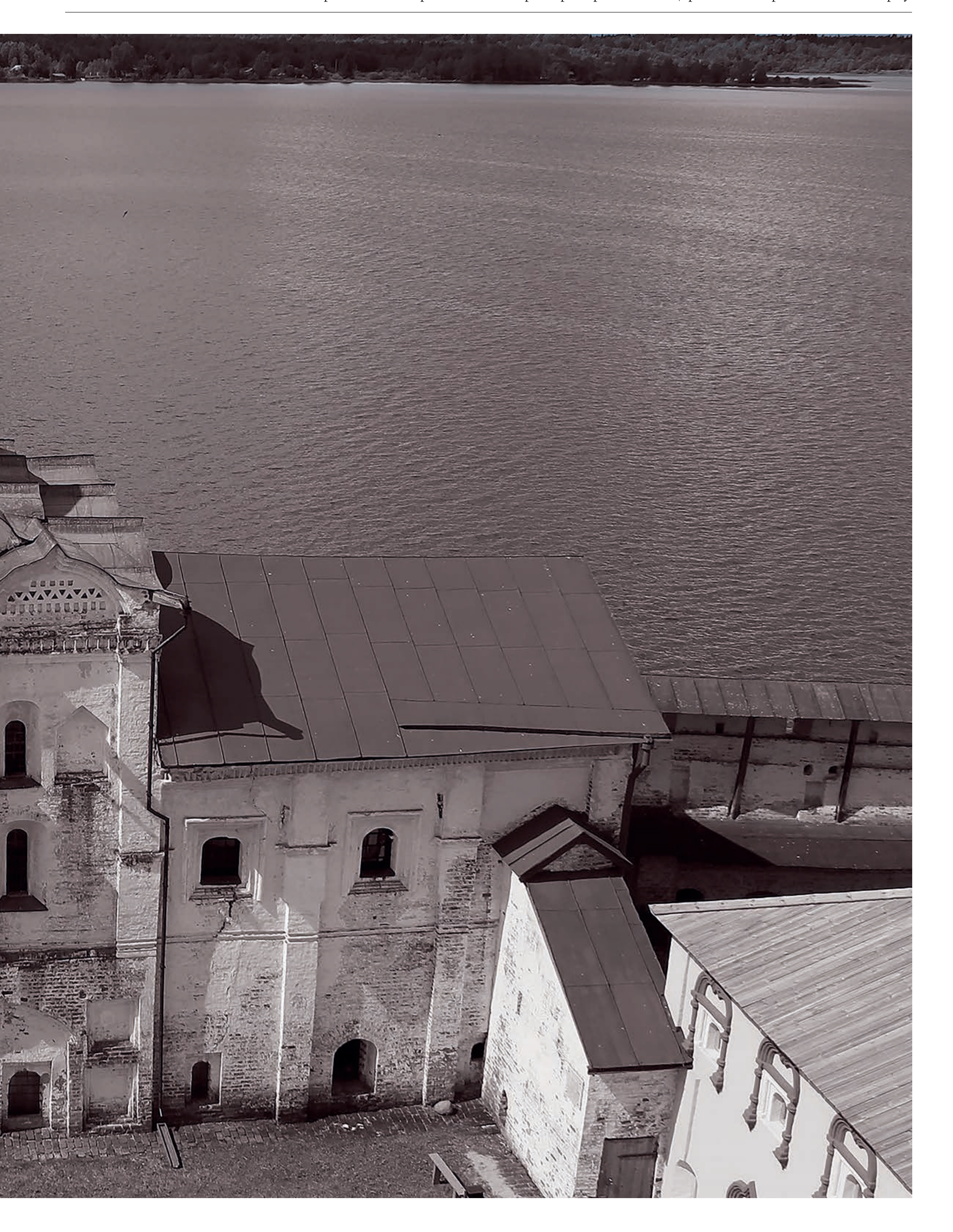


прямо в кокошники, однако же они чаще были горизонтальной архитектурной единицей, скорее приземистой, чем парящей, а тут их словно за уши вытянули на день рожденья, да так и оставили. А нам ними – почти «во фрунт», на одной линии с севера на юг выстроились высокие барабаны и главы, только средняя чуть отступила назад, и кирпича на неё не пожалели, и орнамент в три яруса нарисовали по-псковски. 3 барабана почти продолжают вертикальную тягу далеко отстоящих апсид. Пророки Моисей и Илия в присутствии трёх учеников разговаривают с Иисусом о предстоящих неизбежных событиях, предвидят их; каменная картина без ликов напоминает икону Преображения с тремя действующими лицами. Хочешь – не хочешь, а память подсказывает, где именно ещё пригодились три стоящих в рядок на горе столба пару тысяч лет назад, а в черепе, кажется, сами кости сопротивляются – да не может быть! Это же предвестники будущей жизни, после Голгофы, после горя, муки на троих, копья, губки с водой. А ничего угрюмого, сумрачного, угрожающего в облике здания нет, нет и мрачности, переживания и свидетельств горя, скорее наоборот, ощущается что-то праздничное, даже весёлое, приподнятое, приветливое. Глаз сам, без участия сознания, отмечает несколько нишек с треугольными скатными верхушками, которые, вероятно, напоминают об окнах, их нет, но могли бы быть, стало бы внутри светлее, ярче, а снаружи и так плоско, но пёстро, ничто за жилу не тянет, не тяготит, не настраивает на страдание и сопереживание, как-то легко глаз прыгает и по стенкам соседних зданий, и сам собой настраивается на умиротворение и наслаждение покоем и равномерностью зрительных впечатлений.

Трудно сказать наверняка, не исключено, что такое восприятие связано с особенностями индивидуальной психики, с бесчувственностью, попросту говоря, ничем,



Кирилло-Белозерский монастырь. Преображенская церковь с севера и немного сверху



так сказать, не проймёшь, ну чисто «бревно бесчувственное», даже Голгофа его не трогает, толстокожего и твердолицего. Оно, конечно, бывает и так, но и лишнюю вину на себя брать не стоит, по своей голове стучать вредно. Муки-то были две тысячи лет назад, и если мы себя посейчас терзать и поедом есть станем, выйдет, что они прошли зря. Надо не в самоедов играть, а помнить и вести себя прилично.

Для того, чтобы помнить лучше и глубже, слов мало, увещевания сроду не помогали. Строители Леонида Ширшова в регентство и царствование Бориса Годунова запрятали в архитектуру Преображенского собора всю историю Иисуса Христа, кто насколько её знает и помнит, от библеиста и знатока всего на свете до неграмотного хлебопашца, самое общее, самое простое и впечатляющее: был, помогал, учил, облегчал, воскрешал, принял муки и 33 лет от роду навсегда остался помогать. Короче всего напомнить – именно числом «33». И оно-таки зашифровано в Преображенской церкви.

Плоский, одной линией на песке или на бумаге рисунок храмовой главы нельзя отличить от рисунка кокошника, они не похожи, а тождественны и вполне годятся для суммирования в одном ряду.

Одна беда: минутный взгляд на Преображенскую церковь позволяет сосчитать кокошники на одной стороне света (на западе, например, 9) и умножить на соответствующее число сторон (обычно четыре). Три ряда по три штуки, итого 36, да плюс ещё три главы, ничего не выходит с нумерологией, никак.



Не тут-то было. На востоке, над апсидами – не три, а два ряда кокошников, третьего ряда всё равно из-за массивных и высоченных апсид никто бы не увидел, их и ставить не стали (гипотетические 36 сразу превратились в 33). Из-за апсид никто и не увидел, что рядов-то – два, а не три. Ещё два кокошника потерялись на двух восточных главах: у каждой в смежниках не по целому кокошнику, а только по половинке. Последний, 31, пропал в третьем ряду: там с севера и с юга не по три, а по два с половиной кокошника: с каждой стороны центрального барабана третий кокошник начат, но не доведен до конца, из двух половинок едва один целый наберётся, вот он-то и есть тридцатый. Осталось к оставшимся 30 наличным кокошникам прибавить на основании общего силуэта три главы, и все тридцать три года погружаются в сознание, у кого уж какое образовалось, кто что успел разузнать и распознать. Очень непростая арифметика, надо не только складывать уметь, но и вычитать. Но и хитрость невелика: как-то же научились из привычного пятиглавия вычитать две главы, чтобы получилось всего три – и ничего, вычли, и даже уловили, для чего, чтобы напомнить о трёх столбах. Много ли народу увидело число? Наверняка немного. Но какие силы это знание придало тем, кто увидел, как сократилась двухтысячелетняя нить – почти до соседей, родных, знакомых и даже незнакомых на улицах, до признательности неведомым пращурам пятого или восемнадцатого поколения назад за их любовь; это благодарность пращурам, которые авансом любили неведомых потомков на века и тысячелетия вперёд.

С.С. Подъяпольский, реставратор и архитектор, вернувший к жизни Преображенскую церковь (в числе многих других), всё, конечно, видел, всё знал, однако, зная, промолчал. Что видел – сомнений нет. Когда он впервые увидел церковь Преображения, трёх барабанов с главами не было вовсе, стояла посередине шаблонная палатка с одной восьмигранной главой над восьмигранной же распластанной тыквой, для оптимального расположения высокоценных скатных крыш кокошники подрезали, в итоге получилась стандартная клетская церковь, только не из дерева, а из камня. Бранить тех, кто ставил крыши – толку нет, скорее всего, они спасали то, что ещё можно было спасти, но как можно довести до такого состояния выдающееся произведение архитектуры вселенского уровня, как можно было утратить все чув-



ства, не видеть, не впитывать тяжёлые объёмы, не слышать клавиши лотковых (коробовых?) покрытий за кокошниками, не чуять смыслы, специально для всех потомков сообщённые каменными образами, как можно утратить всю память и поглупеть до тараканьего уровня, чтобы вместо трёх глав поставить одну, да ещё такую, поглупеть не одному, а всем, одним махом, и задолго до всяких большевиков и коммунистов. Была искренне, от души, напрочь утрачена всякая вера, остались одни воспоминания об обрядах, к которым прилагались какие-то (лучше поскромнее) церкви для их исполнения; всеобщее просвещение даже в начальной своей стадии сумело сожрать не только веру и религиозность, но и многими веками взрощенное понимание красивого, связанного крепко-накрепко с церковью. Оно (понимание) оторвалось от церкви – и почти погибло для почти всех, и стало потом из редких живых корней расти заново. Вот такой корень, довольно безобразный, достался С.С. Подъяпольскому, и он перекинул мост от Леонида Ширшова и его строителей, проникнув в их видение красивого и в их мысли при строительстве. На рисунке на севере и на юге от центральной главы нарисованы половинки двух кокошников



в третьем, самом верхнем, ряду. Обе половинки повёрнуты так, словно они из третьего ряда. Вероятно, так позволили сделать сохранившиеся на месте остатки кладки. Но были ли эти остатки, или всё срубили начисто – сказать трудно, барабанов-то под крышами нет. Далее С.С. Подъяпольский должен был руководствоваться логикой при решении вопроса, как повернуть половинки: можно поставить их как продолжение северного и южного третьего ряда из двух кокошников с каждой стороны, отсутствующими полускатами к зрителю (то есть два прямоугольных остатка), а можно и фронтально, как заведомую имитацию (два кокошника могли бы войти, для ещё одного места не хватит) третьего ряда на востоке. В последнем случае обман работает надёжнее: полукруглый сегмент выразительнее прямоугольного. Нарисована и выстроена эта имитация (не важно, по остаткам или по логике) с одним резоном – для арифметики. Нынешнее здание подтверждает, что он всё сосчитал.

Они (подмастерья каменных дел) даже простой вход просто сделать не могли, в каменных порталах почти всегда есть застывший жест. Очень маленький наклон верхушки, едва различимый, считываемый не глазом, а способностью уловить ана-



логию между головным убором и завершением портала, умением не увидеть, а принять, молча положительно ответить на приветствие-приглашение, устроенное специально, и не для архитектурного совершенства или украшения, а с иным мастерством, с постоянной и неустанной мыслью о приходящем, как бы ему сделать просто так хорошо, не получая и не надеясь ни на какую плату или возмещение. Выровнять верхнюю точку дверного обрамления для каменщика – задача не то что простая, а оскорбительно простая: «То есть как это не смогу? Я?». Всего-то и надо – вывесить в серединке отвес и хоть как зафиксировать его, на палочке, на веточке, на ниточке, потом к точке подвески подвести каменную кладку и любоваться результатом. Но вот отчего-то понадобилось подвинуться на полдюйма, на полвершка, то влево, то (чаще) вправо. Один раз – конечно, подмастерье напортачил, «молодой, глупый ещё». Но если повсюду, все разы – сделано специально, нарочно, с целью: когда руки заняты, чем же ещё и махнуть, приглашая войти, как не головой, с наклоном, да с поворотом: «Сюда-сюда, заходи…». Ни слова не сказано, а приглашение оформлено, причём постоянно и для всех действующее, но чуть-

Преображенская церковь с северо-востока. Третьего яруса кокошников нет



чуть, на полвершка, не хочешь – не замечай, иди так, без приглашения, камнем, бровью не поведя.

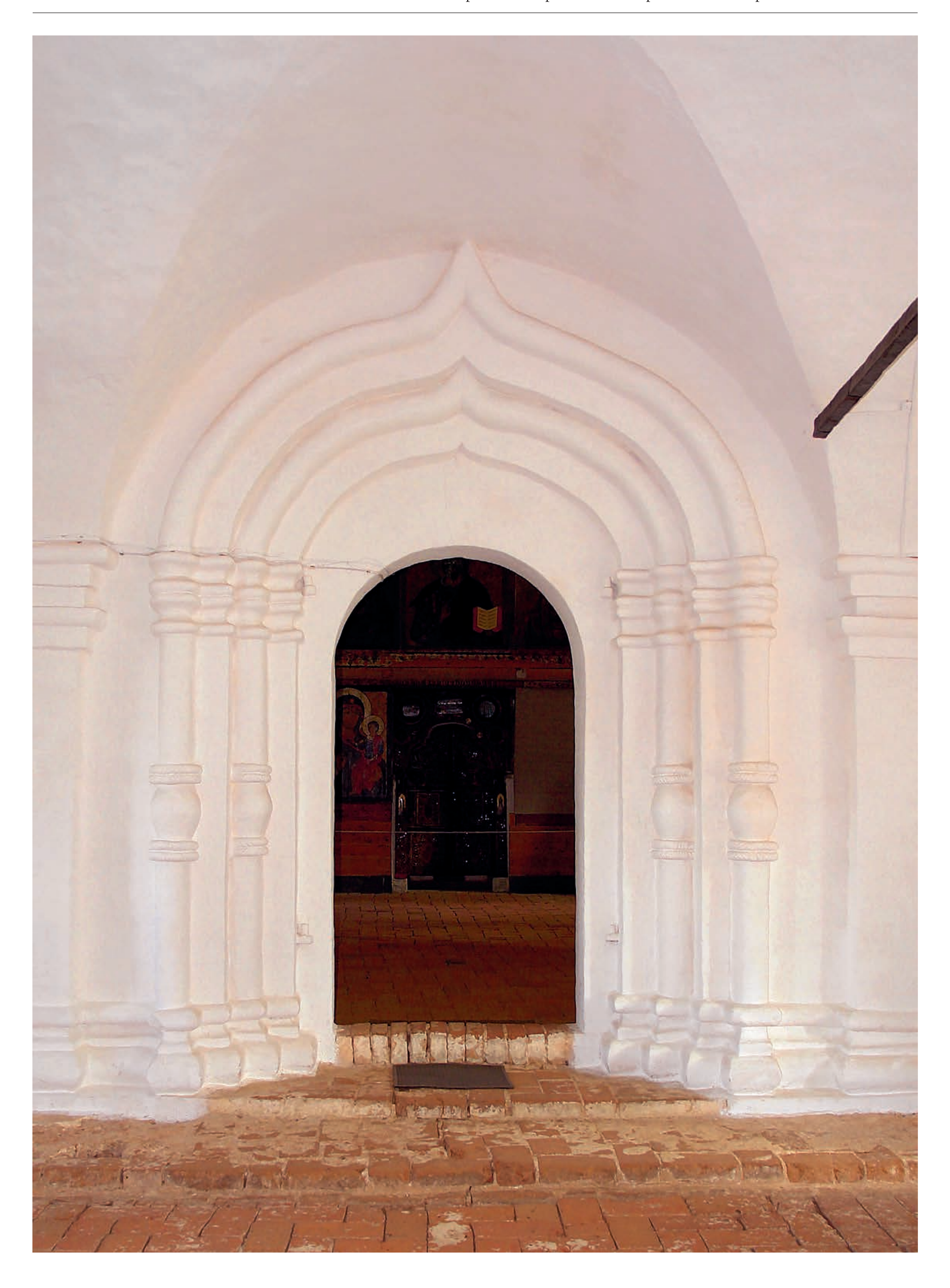
Годунов уже у А.С. Пушкина и М.П. Мусоргского – не хитрец, а мудрец. И прямо на глазах становится всё мудрее и мудрее. Святую Святых на Ивановской площади начал строить (что позволило потом Никону делать так же в Новом Иерусалиме), «33» много раз зашифровал в разных местах (хотя это, может быть, и без него), неслыханную стену в Смоленске поставил (ну, конечно, и Фёдор Савельевич Конь постарался), общественное и государственное устройство чуть ли не впервые в Европе приблизилось к разумному, и вот как всегда. Как только опять, так сызнова и снова. Откуда и берётся столько смут на многострадальное отечество, может быть, это лишь здесь кажется, что нам больше других достаётся, а болото мы всякий раз на-



ходим сами, причём вовсе не там, где оно всегда было? Это верно. Чтобы со славой выбраться из болота, надо в него сначала забраться. Здесь всё же чаще действует другое правило: кому много дано, с того много и спросится. Сколько ни считай подарки судьбы, они никогда не уравновесят бедствия, для боли нет единиц измерения. Терпение не заменяет деланья, созидание, даже в унынии и страдании, меряется не слезами, а пòтом. Поэтому Борис Годунов заслуживает благодарной памяти уже за то, что задумал, начал и успел, как говорится, «Бог целует его намерения». Неужели причина трагедий, и его, и семьи – и в самом деле в восьмилетнем мальчишке? И было, и осталось? И второй раз, через триста лет, другой мальчишка месяца не дожил до 14 лет, уж про всю семью и доктора нет сил вспоминать? И только-то?

А что, кто-то и после А.С. Пушкина и М.П. Мусоргского сомневается?







В Кириллове нельзя не отметить ещё одно странное здание гражданской наружности, больничные палаты. Оно огромно до необъятности, снабжено только понизу маленькими окошками (под коньком есть ещё прорези). Главная диковина – как страждущие обогревались? Нет ни одной печной трубы. Жаровнями с углями такое помещение не протопишь. Может быть, по-чёрному топили, для того и прорези, и ритмически вынутые кирпичи под стропильным «мауэрлатом»? Или зимой не болели, к осени все выздоравливали? Если принять во внимание резон, недо-



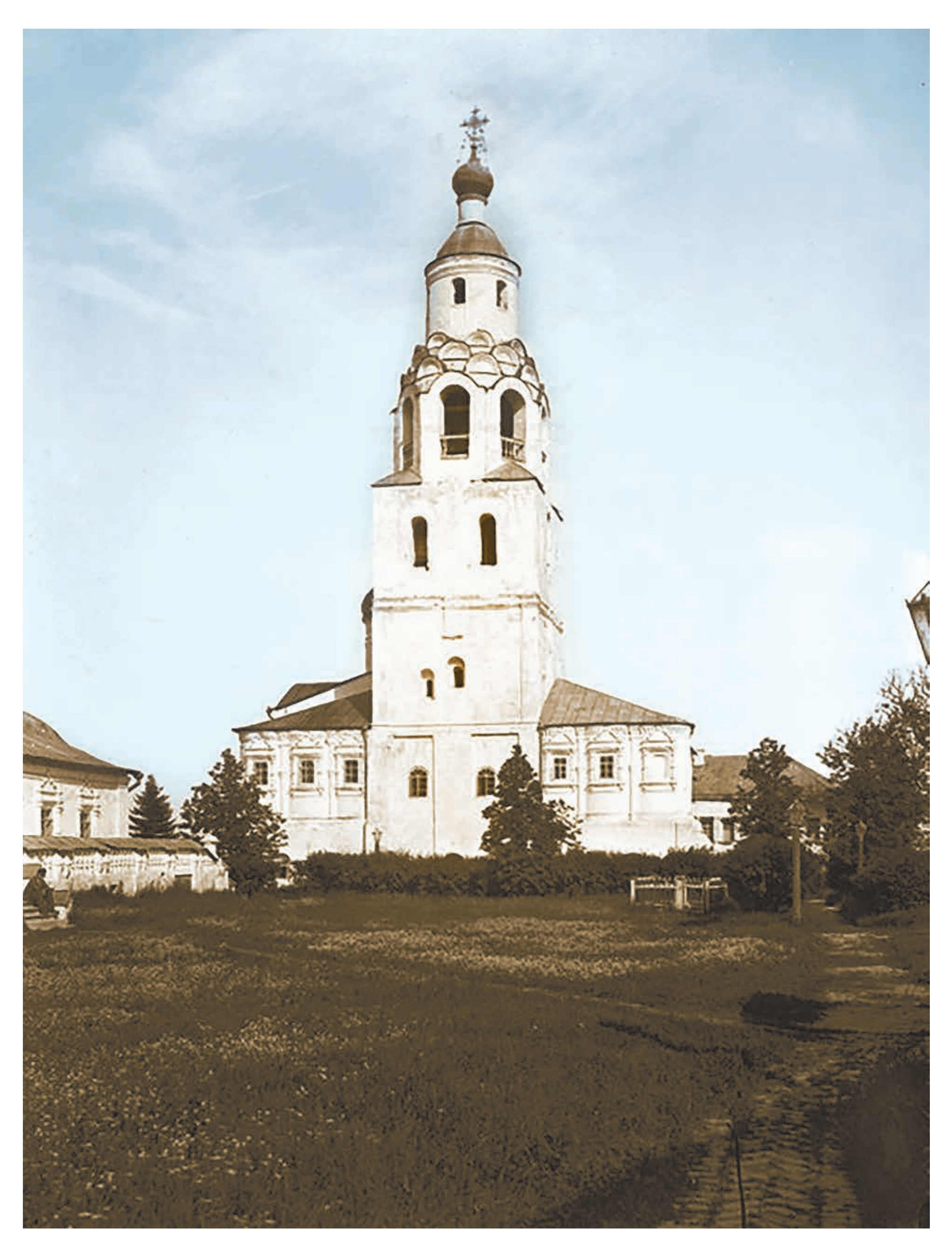
ступный тем, кто ни разу не был в помещении, где долго и тяжко болеют малоподвижные люди, то врачевателей трёхвековой давности надо признать очень умелыми специалистами. Именно отопление по-чёрному при такой высоте стен обеспечивает снизу постоянный приток свежего воздуха, так необходимого больным, а покрытые сажей от какого-то уровня стены хорошо сушат воздух, не хуже ветра. Но это не более чем предположение, требующее более глубокого и основательного проникновения.











Грозненское и годуновское времена совсем не знают понятия «провинциальность», оно появилось, вероятно, только после Петра. Никольская церковь Успенского монастыря в Свияжске (построена раньше, чем перестроена Распятская в Александровской слободе) годится для любой столицы, лаконичная простота немного испорчена только верхними уровнями со слишком маленькой главой над худосочным барабанчиком и полузаложенными окнами, появление шатроподобного конуса из металла можно попробовать объяснить себе только попыткой то ли укоротить похожую на палец шею под главой, то ли желанием немного нарастить бара-



бан с окнами, но сразу видно, что сделано без задора, без чувства, просто, чтобы сделать. А вот пониже этой заготовки заводской кирпичной трубы начинается действительно интересное.

Благоприобретённая привычка считать кокошники сначала приводит к немного обескураживающему результату: восьмигранник нельзя охватить одним взглядом, пока огибаешь взглядом, забываешь, откуда начал. Выход есть: каждый угол восьмигранника режет пополам два стоящих сверху кокошника, два слева и два справа; сложив четыре половинки и один целый кокошник, имеем над гранью три кокошника.

Итого – 24. Но нет, надо учесть и те, что накрывают проёмы, и вот добавилось ещё восемь. Радиус окружности нижних дуг, которые «исполняют обязанности» кокошников, намекает на радиус окружности главы, что должна была бы стоять наверху. Образовавшееся внезапно, без предупреждений, число «33» заставляет вспомнить подколоколенную церковь в Александровской слободе, ещё Алексеевскую, от 1513 г. Она была существенно ниже нынешней, и число кокошников на ней неизвестно, они скрыты в 1570 г. во время перестройки, а за 4 года до того они ещё могли быть образцом для новой колокольни. Доказать это предположение можно, только дождавшись новых неразрушающих методов исследования в Александровской слободе. Но даже и без немного натужной привязки к Алексеевской церкви в качестве образца Никольская важна как один из ранних в XVI веке (известных нам) примеров архитектурных размышлений с числом «33».

Небольшой накопленный опыт рассматривания церквей годуновского времени заставляет насторожиться при рассмотрении даты «1604», когда, судя по надписи на закладной доске, построили церковь Сергия Радонежского с Никоновским приделом в Иоанно-Предтеченском монастыре Свияжска. К этому времени уже стояли модельные церкви и приделы (Василия Блаженного, Феодотия Анкирского и Георгиевская в Серпухове, Богоявленская в Ярославле, Успенская в Нижнем Новгороде, Рождественская в Беседах, Богоявленская в Красном на Волге, Преображенская в Кириллове).

Четыре причины заставляют предполагать, что и Сергиевская относится к этому кругу.

1. Все перечисленные (кроме Василия Блаженного), и Сергиевская, отмечены выраженной тягой вверх, ввысь, к подъёму, большему, чем принято обычно, начиная от возвышенного места, от простора, от лестниц перед гульбищем и после, от солеи; здесь, чтобы войти, надо не подняться, а «взобраться», долго, с поворотами, разными маршами, через палатки и уровни.

2. У серпуховских церквей Феодотия Анкирского и Георгиевской отсутствуют апсиды, как и в Свияжске у Сергиевской.

3. За Георгиевской в Серпухове построено «Заегорье», то есть каменный архитектурный мотив, перешедший с иконы в природу, иконолит; ровно то же самое есть и у Сергиевской, хотя это и трудно опознать, очень уж за три с лишним века его покорёжили, куполов понаставили, окон нарубили – то есть искренне и от души пытались спасти то, чего не понимали и в чём не видели ни смысла, ни содержания: что-то ремонтируем, но как называется, что это и для чего это – сказать нельзя, не видим ни глазом, ни умом.

4. Число «33».

Отлично отреставрированная Сергиевская церковь отреставрирована плохо. Она должна блистать также, как комягинская (тоже Сергиевская), островская (Преображенская) и кирилловская (тоже Преображенская). Чтобы отреставрировать хорошо, надо поставить за своей спиной парсуну Бориса Годунова и помнить, что он всё время смотрит в затылок и дышит, пыхтит и сопит, силясь подсказать и нашёптывая:

«Ну не может быть такого барабана, он похож и на кеглю, и на бутылочное горло, и луковица должна быть побольше, сообразно нижнему ряду кокошников, и кокошники во втором ряду должны быть побольше, и у основания барабана надо бы сделать восьмигранник из кокошников, как у Василия Блаженного и Феодотия Анкирского, и окна эти очень уж явно стилизованы ‘под старину’, и купол этот, похожий на казан, надо убрать, и поставить шатёрик, а то и два, и всё время следить за тем, чтобы сохранялся и появлялся иконный облик, чтобы невидимые святые ждали за каждым углом и поворотом, потому что они привыкли к этой и такой архитектуре, они в ней жили и живут, как в иконе».



Никоновская церковь, построенная в третьем десятилетии XVII века вплотную к Троицкому собору в Посаде, отстоит по времени от здешней Сергиевской церкви с Никоновским приделом всего на два десятилетия. Стилистически между ними нет ничего общего, церковь краше придела, но будить мысль Никоновский придел мог, достаточно было одному человеку рассказать о виденном в Свияжске чуде.

Чтобы снова стать чудом, Сергиевской церкви надо встряхнуться, сбросить всякие нахлобучки и превратиться в такую же красавицу, как Успенская церковь на Ильинской горке в Нижнем, как островское Преображение без колоколенных добавок: «...что неможно глаз отвесть».

Никоновский придел строили одновременно с церковью, сразу, об этом свидетельствует восточный фасад. Плоская его скатная крыша как-то не вяжется с затейливостью замысла всего комплекса. Два окна на севере не могут ничего сказать, их вполне могли прорубить существенно позже, добавив просторности, а вот восточные красноречивы. Нижнее, побольше, чем верхнее, опущено чуть пониже окна в церкви:

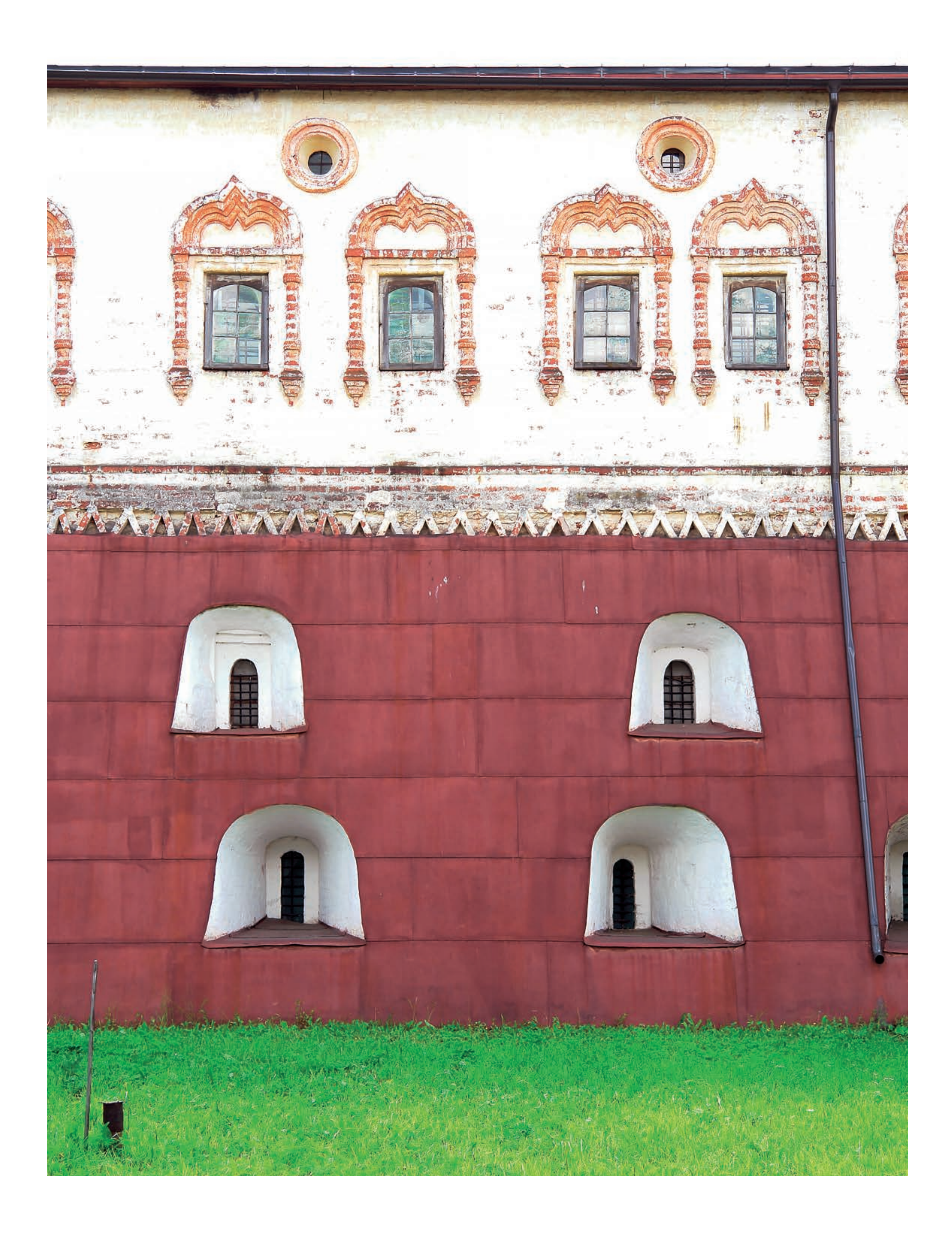


Никон был учеником, превозноситься не подобает. Самое красноречивое – отрубленное верхнее слово. Оставить окно без перекрытия (с. 155↗), просто накрыв косую дырку стропильной ногой, не может ни один строитель, никогда, покрытие наверняка было иным. Форма окна повторяет два проёма слева, на церкви, а близость к северной стене церкви, с добавлением хоть какой-нибудь высоты разумного перекрытия окна – прямо запрещает, делает совсем невозможной плоскую крышу, она должна быть почти горизонтальной, как дорога. Было ли такое же окошко в правом



прясле стены – сказать трудно, но покрытие самого Никоновского придела должно, обязано, не может не, стопроцентно и наверняка вторить покрытию Сергиевской церкви, оно было с кокошниками и никак иначе. Достаточно для полной уверенности вспомнить Никоновскую церковь в Сергиевом посаде, стоящую вплотную к Троицкой церкви, с одной стеной. Только тогда приобретают смысл, встают на свои места все лопатки восточного фасада, симметрия внутри асимметрии появляется там, где надо, и даже зарождается подозрение, для чего не стало апсид, ни

Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Спасённые контрфорсом окна в аварийной стене





там, ни там. Две взлохмаченные горы, стоящие бок о бок, показались бы ниже, если бы опирались на массивные апсиды, без них конструкция чище, более звонкая и простая. Чтобы прозреть облик заранее, может быть, есть смысл построить в масштабе макет с новыми покрытиями и главами. Тот реставратор, который это воссоздаст на месте, станет в ряд с П.Д. Барановским (со смоленским собором) и С.С. Подъяпольским (с Преображенской церковью). А если найдётся решение для запада и юго-запада, хотя бы по аналогам, рынды будут носить его (bzw её) царский шлейф всю оставшуюся жизнь.

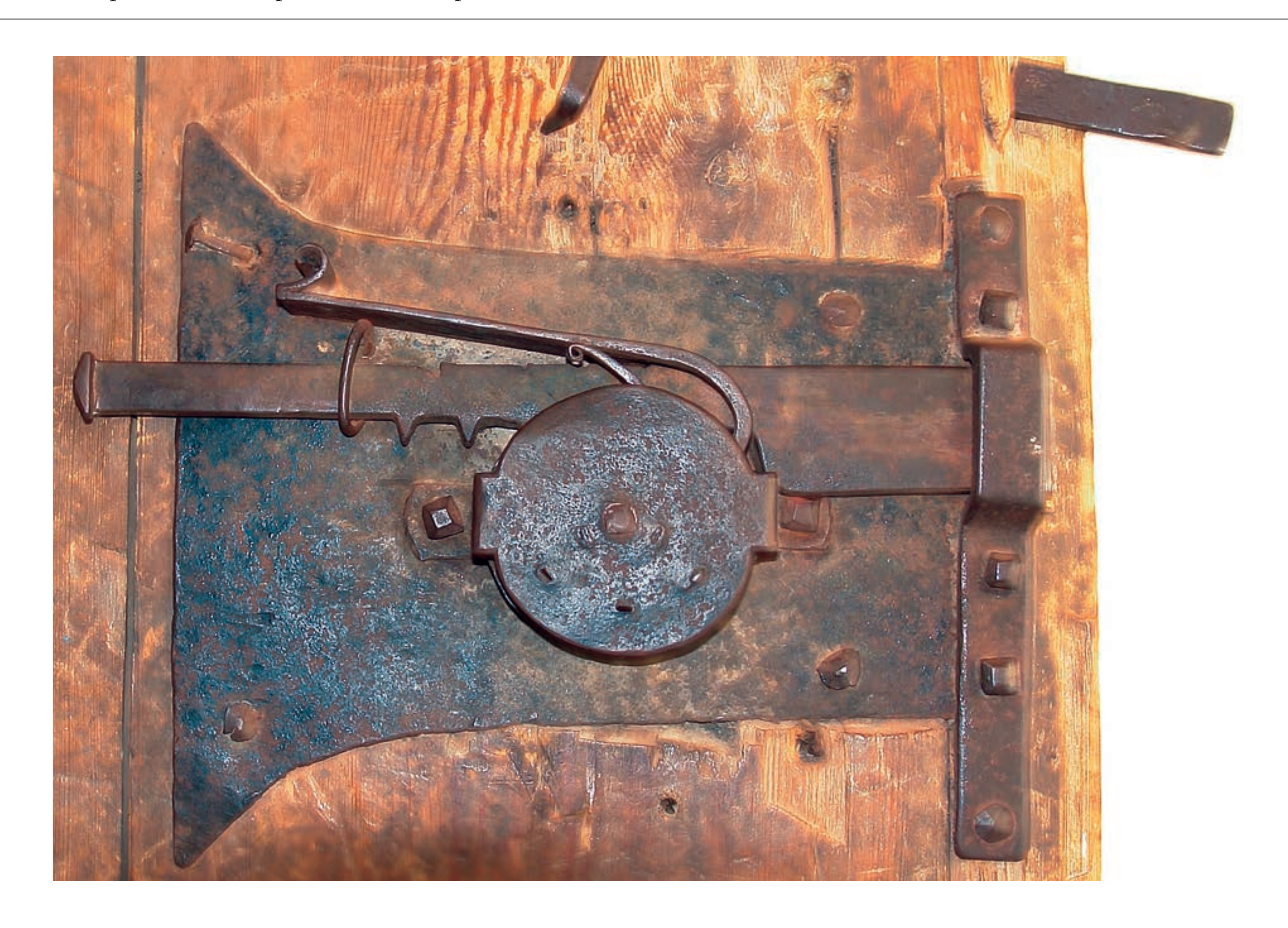
Послегодуновское время – мутное и тёмное, «поляки и казаки, казаки и поляки нас паки бьют и паки, мы ж без царя как раки, горюем на мели». Разных подложных Дмитриев не считая, государи один за другим пошли вроде бы и осанистые, но все с какой-то червоточинкой, начиная с Михаила (сел на престол в 1613 г., освободил его в 1645 в 49 лет), с 16 до 37 лет прислушивался к мнению батюшки, патриарха Филарета; потом Алексей (примерился к трону в свои 16 лет и уступил его в 46 лет в 1676 г.), с 17 лет до почти 30 почитал патриарха Никона как отца и Великого государя и не однажды просил прощения и благословения (безуспешно) до самой кончины; Фёдор (взвесил в руках скипетр и державу в 15 лет и выронил их в 1682, не дожив до 21 года) не противился великим преобразованиям самого начала

Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Линия окон в стене



Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Угол для повозок





80-х годов, к проекту которых могли иметь отношение и патриарх Иоаким (как противник), и В.В. Голицын, и Ф.Л. Шакловитый, и Салтыковы, и Одоевские; патриарх Адриан в последнее десятилетие увещевал прыткого Петра, добиваясь более сдержанного отношения «к старинам».

Среди патриархов попадались и такие, которых можно было бы отнести к неопределённой категории «невзрачных» или (лучше сказать) «неприметных», вроде Иоасафов I и II, Иосифа (правда, при нём расписан Успенский собор во Владимире), Питирима, но остальные возвышаются своими деяниями над юными и недосостарившимися государями как скалы над морем. Иов, Гермоген, Филарет, Никон, Иоаким (то есть Ефим) и даже Адриан – чертили тот рисунок истории XVII века, который растушёвывали цари, так же, как делают фрески в церковных росписях: знаменщик намечает общую конструкцию того, что потом доделают умельцы по позёму, лесам или небесам, по ликам, зверям или платью, то вместе, то порознь, но первую черту в сырой штукатурке вёл знаменщик. Самой приметной личностью надо признать Никона, как признавал ещё В.О. Ключевский, только поднять его надо ещё выше. Несколько сотен лет (В.О. Ключевский для приближения к первичному пониманию эпохи выделял триста лет) ушло на то, чтобы только задуматься о постановке вопроса: бесспорно ли неоспариваемое господство просветительской теории Дж. Локка и Ш.Л. де Монтескье («О духе законов») про равновесие нескольких относительно самостоятельных ветвей власти, про некий баланс сил, способных отделиться одна от другой – или это попытка скорее театральная, рассчитанная на людей, ещё не приученных ответственно думать; коромысло (контарь, весы) о двух концах можно себе представить как устройство для балансирования и эквилибра, а как только появляется третья ветвь, уже ничего уравновесить нельзя, задача усложняется до нерешаемости. Для Никона, его предшественников и тех, кто пришёл ему на смену, придумывание законов, исполнение законов и наказание за неисполнение законов (то есть законодательная, исполнительная и судебная власти) – словесное баловство, рассчитанное на несведущих людей. Власть всегда одна, а ветвей у неё может быть и три, и двадцать три, и сорок семь. Начальник



подчиняет подчинённых умом или силой, ни совесть, ни справедливость тут ни причём. Ум и сила, остальное – подробности, механизмы и бантики.

Появившаяся после Елены Глинской система приказов и губного самоуправления (просуществовала почти двести лет, а под другими именами и триста) без какого бы то ни было представительства, выборов, голосований, демократии и квот почти синхронна зарождению и развитию парламентской демократии в Западной Европе. Судья (глава) приказа соединял в своём лице все три ветви власти не потому, что до него не докатилась просвещенческая премудрость, а потому что прекрасно представлял себе, что (1) всё многообразие задач, решаемых приказом или иным властным органом, не может быть описано кодифицированным законом, так как любой и каждый закон – это суммарная реакция на задачу, которую следует решить; в этом смысле любое право прецедентно (до сего дня привычна формулировка, в которую редко вслушиваются: «преступление, предусмотренное статьей такой-то»; что-то ведь послужило причиной для «предусматривания»); решения судьи приказа количественно несопоставимы с нормами законов; (2) как только исполнение закона оторвалось от его сочинения (разделилось на законодательную и исполнительную ветви), простор для злоупотреблений превратился в бесконечность; коротко говоря, закон не нужен и даже вреден, если нет возможности обеспечить его исполнение, он тогда развращает и уничтожает законопослушность; (3) отраслевой и территориальный принципы построения властных учреждений не могут быть соединены с выборным представительством, «или–или», словом, быстро превратить Сибирский приказ в Горнорудный или «Пушной» через парламент нельзя, даже если нужда в этом огромная и срочная; кроме того, выборное представительство основано на процедурах, требующих времени и не допускающих проверку квалификации и пригодности избранных к тому, для чего их избрали (гениальный финансист может быть безобразен лицом или манерами: кто же такого выберет, если он просто «не нравится»?).

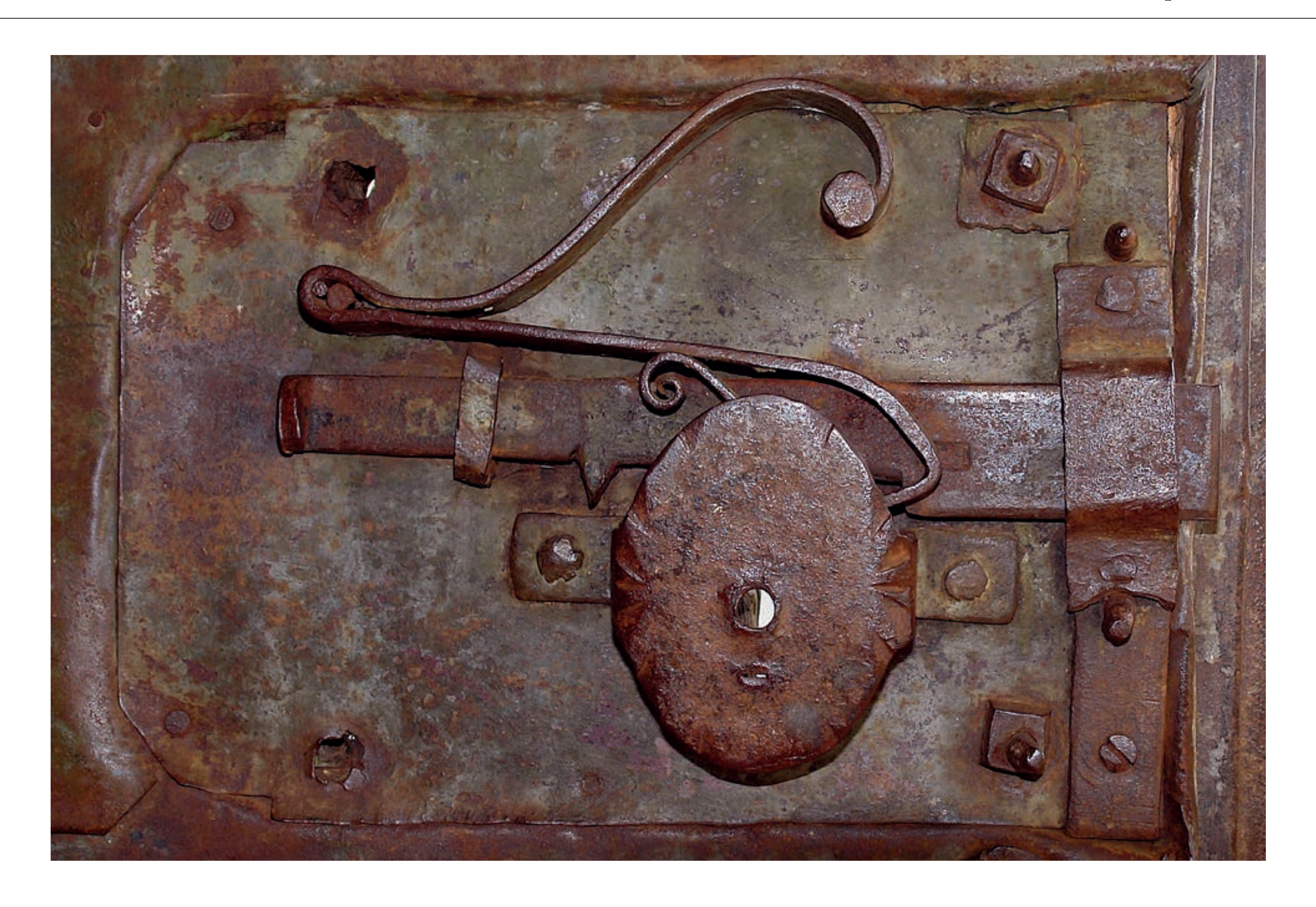
В каком бы обличье ни представала власть (одной веткой или тремя сучьями), везде действуют люди, придуманное одним может быть перепридумано другим, и то,



что задумывалось как золото, на деле оказывается свинцом в лучшем случае. Никакие процедуры, законы, выборы и прочая чепуха не могут (честно говоря, и не должны бы) приближаться к мотивационной части принимаемых решений на любом уровне, от императора до надсмотрщика за рабами. А это значит, что путь, избранный Западной в первую очередь Европой после Елены Глинской (путь, обозначенный эпохой Просвещения и понятый в XVIII и XIX веках как выборное народопсевдовластие) обязательно накопит хитроумные пороки в отправлении демократических процедур, соберёт все глупости и гадости, комом катящиеся с горы в пропасть, дно которой не просматривается.

Никон ухватился именно за это, за мотивационную часть всех принимаемых управленческих решений. В этом состоит его значение и вес, сопоставимый с весом Лютера, Бетховена, Чайковского или Ленина. Его направление размышлений – альтернатива примитивному ничтожеству демократическо-коммунистической фальсификации просветительского наследия. Согласиться с таким увеличением исторического веса Никона можно только заставив всех патриархов первого созыва (за целый век) взяться за руки и встать в цепь, словно в танце маленьких лебедей у П.Я. Чайковского, и не вчетвером, а всей дюжиной, даже с Ионой Сысоевичем. Как мог крестьянский сын построить Новый Иерусалим? Как задумать, замахнуться? С кем себя сопоставить в одном последовательном ряду, с полным правом сравниться и почти почувствовать ещё тёплое плечо предшественников?

Ответ никому не известен, поле предположений необъятно. В самом конце XVI века Борис Годунов и патриарх Иов построили две почти одинаковые церкви: надвратную Феодотия Анкирского в серпуховском Введенском монастыре и придел Василия Блаженного у Покровского собора на Красной площади, они похожи скромными размерами и архитектурной тайнописью с зашифрованным числом «33» (32 кокошника, рисунок которых повторяет чертеж вертикального сечения верхней 33-й главы). Они же преобразили известным образом сам Покровский собор, который из итальянского гимна барочной симметрии превратился в русский праздничный



символ целой страны. Они же продолжили Шествия на осляти, к Входоиерусалимскому приделу Покровского собора. И они же задумали строительство Святая Святых внутри кремля и даже завезли строительные материалы; не исключено, что и надстройка колокольни Ивана Великого – часть проекта некоего огромного архитектурного чуда, своим размером и назначением утверждающего роль нового центра православного мира, не затмевающего иерусалимский оригинал, но возрождающий его, поскольку агаряне его пленили и назначили своих сторожей.

От крушения планов и Иова, и Бориса Годунова в 1605 г. до начала строительства Новоиерусалимского Воскресенского монастыря (1656 г.) прошло полвека. Люди, ставшие свидетелями взрывного взлёта патриарха Никона (родился как раз в 1605 г.), если им было лет 60–80, не могли не помнить разговоров и событий самого начала века, с возведением Запасного дворца (двести лет простоял), с надстройкой колокольни и надписью про Бориса, и вполне могли помнить о замысле Святая Святых, особенно в заинтересованной среде около высших церковных иерархов. Дворец Советов, что на набережной, начатый строительством в 30-е годы XX века, застрял в памяти потомков по такой же причине, как сооружение, знаменующее начало новой эпохи. Сооружение, превосходящее всё, что было раньше, даже и Покровский недавний (всего полвека назад) собор. Если завезли строительные материалы, значит, произвели расходы, заключили ряды и подряды (договоры), наняли подмастерьев каменных дел для подготовки проекта или макета, может быть, не без иностранцев. Документальные свидетельства могли сгинуть при поляках и прочих невзгодах, но из живых-то голов эту память не выковырнуть, она только в земле растворяется, зато уж навсегда. Могли ли до Никона добраться такие сведения? Хочется думать, что да, могли.

Если считать от момента начала строительства, от 1656 года, вспять, то вполне можно лет на десять сократить срок сохранности воспоминаний, то есть до появления Никона в Москве в 1646 году: у него был деревянный макет Воскресенского собора в Иерусалиме (ныне в музее) и Кийский кипарисовый крест (ныне

в Крапивниках в Москве) – всё привезено из Иерусалима. Макет весьма искусно сделан, в кипарисовый крест вмонтированы многочисленные частицы мощей святых. От первой мысли до проработки замысла, до осознания необходимости макета, до заказа кипарисового креста с одной горизонтальной перекладиной сверху и покупкой частиц мощей – годы, дорога тоже может занять два–три года: легко всё может занять девять–десять лет, тогда уже пятидесятилетние старожилы могут рассказать Никону об идее Иова и Бориса, а, может быть, и митрополита Филиппа, чьи мощи он уговорил Алексей Михайловича перенести в Кремль. Новоспасский монастырь (усыпальница Романовых), Новгородская кафедра, кружок «ревнителей благочестия», книгоиздательская деятельность предшествовавших Иасафа I и Иосифа, словом, всё помогало Никону «расширять сознание» в первом, истинном значении слов – делать взгляд широким и глубоким, прозревающим время вниз и вверх, и пространство событий до всей мыслимой географии и истории, чтобы вступить в поток, который нёс Россию к симфонии духовной и светской власти. Этот поток был равновелик событиям, завершившимся Вестфальским миром и где-то между Новым Иерусалимом и Полтавой он ушёл в песок, оставив по себе смутное воспоминание, лучше всего описанное тютчевской фразой про то, что Россию нельзя понять при помощи ума и измерить при помощи универсального аршина.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что баланс властей от Иова, Гермогена, Филарета, Никона, Иоакима и Адриана (архитектурный памятник этому балансу – вся Ростовско-Ярославская епархия, бывшая сорок лет под рукой у патриаршего местоблюстителя и митрополита Ионы Сысоевича) был эффективнее и продуктивнее баланса трёх ветвей власти, более пригодного для цирковых представлений на потеху публике, чем для управления, потому что всё управление состоит из решений, за которые надо нести ответственность, а двухчастный вертикальный нож, перерубающий связи между ветками власти, запрещает ответственность. Её нет не потому что нерадивые парламентарии принимают худые законы, которые самое высокопрофессиональное правительство не имеет сил исполнить, а суды не умеют уследить за нарастающей количественной трещиной между нормами законов и отношениями, которые надо регулировать, не имея законов. Дошло до того, что ответственности за судебные решения нет вообще никакой (исключения единичны), депутаты напрочь позабыли, что парламентский иммунитет касается только и исключительно, без изъянов, всегда – речей, произнесённых в парламенте, а во всём остальном ответственность такая же или бóльшая, чем у граждан или подданных; любая оплошность любого министерства или самого премьера имеет одно объяснение – закон (который мы исполняем) идиотский или отсутствует, эта ветка тунеядствует и действует во вред, а не для пользы. Поэтому за триста, а то и четыреста лет всё, на что можно повесить табличку «Великое...», «Достойное...», «Выдающееся...», было создано через силу, не благодаря, а вопреки, с преодолением, а не по течению, не важно, тянуть или толкать, главное – рвать жилы, по-другому ничего вообще не получится. Что-то вроде «чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил». Почему? Ответ известен, но его страшно выговаривать.

Поскольку что-то всё равно, всё-таки порой кое-где происходит, и иногда небессмысленное, управленческие решения принимаются. И принимаются людьми, на качество которых справедливо указал в 1868 г. А.К. Толстой: «почти одна лишь шваль», wir bringen es schon zustande, versuchen wir einmal («уж мы-то всё расставим по местам, попытка ведь не пытка»). А.К. Толстой имел в виду варягов, вознамерившихся навести порядок там, где его «как не было, так нет», задолго до того, как в общественном сознании утвердилась мысль, что «полководца делает полководцем не умение принимать правильные решения, а умение принимать решения». Трудная (очень непростая, рас-

считанная на гибкий, тренированный, привычный к дисциплине ум) мысль, что ‘правильные решения лучше неправильных’, звучит всё ещё свежо и неизбито, даже непривычно. Ещё смелее и безрассуднее догадка, что качество решений зависит от качества людей. Но и отсюда – бесконечно долгий путь до умозаключения, что над качеством людей, принимающих решения, надо работать, причём долго, а начать надо с подготовки тех людей, которые станут готовить управленцев, не забывая, что для учителей учителей тоже нужны учителя, которые тоже умеют задавать вопросы, на которые трудно найти ответы. Приблизительно в таком последовании: дети в школе спрашивают учителей, их учат в институте доценты и профессура, защищавшая свои учёные диссертации в вышестоящих (иногда) академиях, в которых своя иерархия старших и младших, и тут уж совсем чёрт ногу сломит, пока разберётся, как ответить на детский вопрос из школы. И это только про образование, а есть ещё и воспитание, в котором искусство чаще всего подменяется тупой назидательностью и даёт обратный эффект – получаются сплошь наглые и циничные болваны.

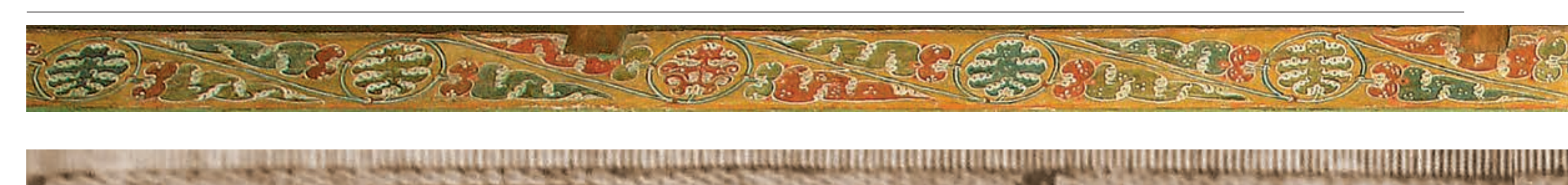
Попытка патриарха Никона готовить людей дала результаты – достаточно взглянуть на Ростовский архиерейский дом и ярославские архитектурные «жемчуга яхонтовые», как сказали бы герои Н.С. Лескова. Никон создавал инструменты и институты, влиявшие на качество паствы самым прямым образом, способом, который может испытать на себе каждый. Просто пройдя через многометровый северный проход Борисоглебского монастыря или под церковью Иоанна Богослова, неважно, с какой целью, хоть отдать знакомцу долг в двадцать копеек и тут же вернуться, любой и каждый человек сначала перестаёт слышать мир и уже поэтому меняется: тишина – редкая ценность. Доменико Трезини, построивший надвратную церковь на западе Донского монастыря, сделал для прохода и проезда не просто проём в стене, а длящийся вход, работающий архитектурно-целительный процедурный инструмент.

Исправление книг, начатое ещё далёкими предшественниками, в XVI веке, целью имело не литературную безупречность и соответствие подвижным во времени идеалам, а именно изменение качества людей, их читающих.

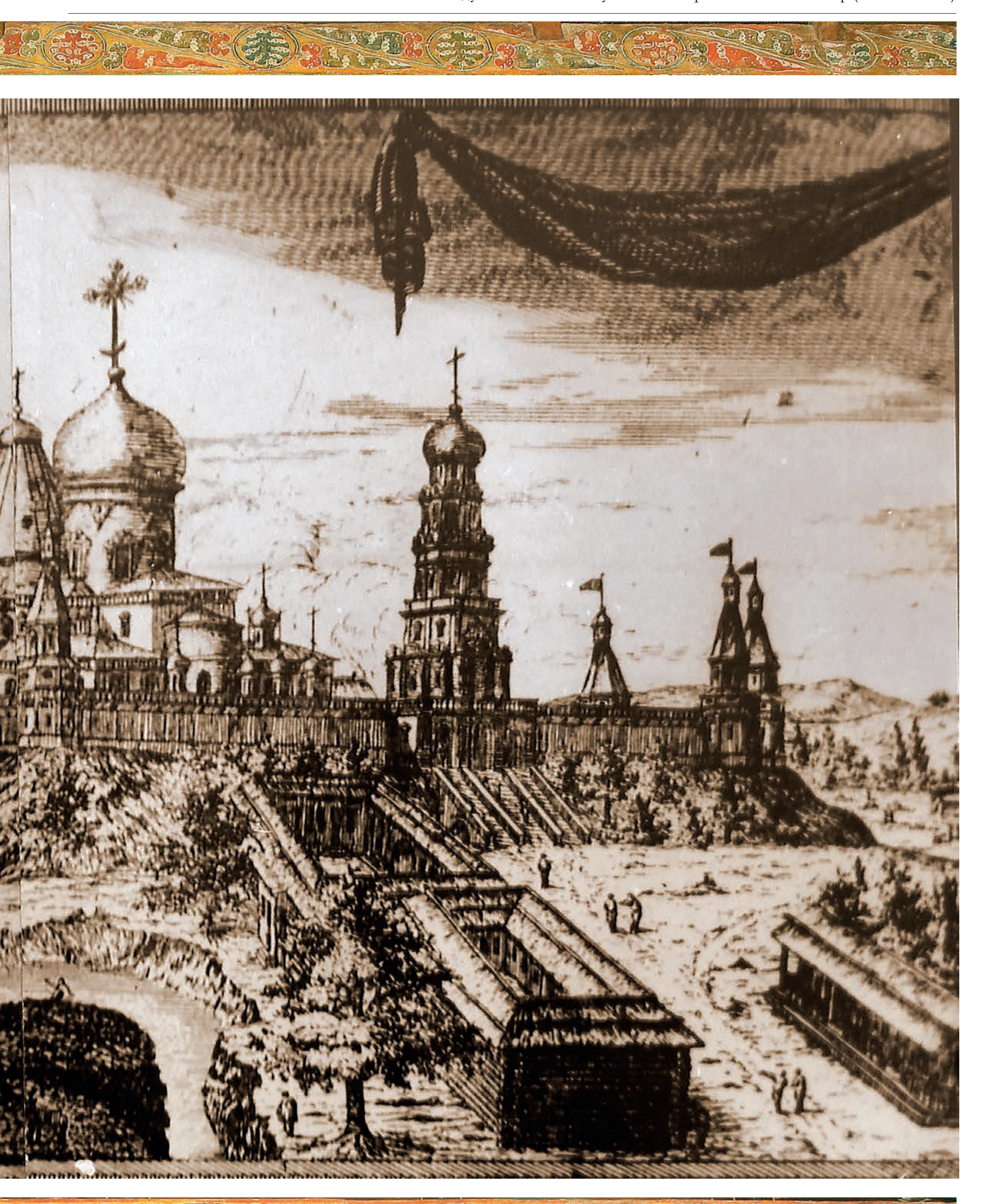
Раньше архитектура, потом литература, потом обряд (по часовой стрелке или против неё надо ходить вокруг аналоя, Исус или Иисус, «во веки веков» или «во веки веком», принятое на Стоглаве двоеперстие или всё-таки троеперстие и прочие важнейшие для веры вещи) – всё-таки носили и носят вероятностный характер: то ли сработает, то ли нет, то ли совесть появится, то ли не обязательно, и никому не ведомо, что предпочтёт человек в сложный для решения момент – согрешить в надежде после отмолить, или устоять, потому что вообще не надо, потому что есть воспитанный запрет, с которого начинается всякая культура и достоинство. Сработала архитектура и литература, подкреплённые обрядом, или мимо совести удалось прошмыгнуть – ни сразу, ни по прошествии времени не поймёшь, чужая душа потёмки. Рассчитывать на силу души надо, но лучше контролировать поступки, чтобы ни крепость убеждений, ни их шатость не то что не смели, а просто не могли перешагнуть за дозволенное, ни дерзновением замысла, ни ничтожеством и леностью воли, то есть выстроить рамки, в которых хочешь – не хочешь, а придётся вести себя прилично.

Вот тут мы и подступаем к возможности сначала толком сформулировать вопрос, а потом, может быть, и попробовать на него ответить. Когда Никон, «сшедший с престола», но не сложивший с себя сан (или чин, или звание, или должность, или призвание, или комплекс обязанностей и прав) патриарха, внезапно вернулся в Успенский собор из Нового Иерусалима, почему к нему под благословение подошёл, в частности, митрополит Ростовский и Ярославский Иона Сысоевич; он совершил если и не акт предательства государя, то во всяком случае нечто очень противное

Новый Иерусалим. Воскресенский монастырь. Гравюра П. Пикара. Собрание Ровинского











его воле, распря между бывшими приятелями была в самом разгаре, и иерей огромной епархии выказал почтение и подчинение своему священноначалию. Ладно, прямо в соборе, деваться некуда, раз приехал патриарх, что же его, палками гнать, посох-то и клобук у него никто не отнимал, но Иона и вообще показывал полное понимание, согласие с Никоном во всём, что тот предлагал и делал. Даже после Большого собора (1666–1667), где Никон был низвергнут до простого монаха, Иона Сысоевич оставался митрополитом ещё много лет и его архитектурная деятельность (конечно, более разрешительная, чем прямо созидательная, ктиторы влияли на облик храмов больше, чем инстанция, выдававшая антиминсы) и поныне составляет костяк того, что принято называть неопределённно-расплывчатым термином '(древне)русская архитектура'.

Феномен Ионы Сысоевича (напоминает Игоря Эммануиловича, сквозь времена и бури, десятки лет – и незапятнанное имя, и результат всей жизни на зависть потомкам, ни повторить, ни приблизиться никто не может и не сможет, только если рядом, потом и после построить что-то своё) требует истолкования, нельзя же в самом деле удовлетвориться сообщением, что такая, мол, попалась замечательная личность, вот и раззудилось плечо, размахнулась рука, явилась целая эпоха в архитектуре от Москвы до Кириллова и даже до Антониева-Сийского монастыря, который тяготел скорее к Новгороду, и до Соловков. Размерность этой эпохи с годами только увеличивается, по прошествии трёх–четырёх столетий становится яснее, что это непропорционально большая часть вообще (древне)русской архитектуры (а стало быть, культуры, народа, истории, цивилизации, дальше увеличение размера понятий упирается в Млечный путь и тихо стекает прямо в Нью-Васюки). Тем интереснее понять, как это удалось Ионе и не удалось Никону.

Если у Никона и Алексея не было раздвоения личностей, то они не могли не помнить, что никоновский тезис о священстве (которое превыше царства настолько же, как и небо выше земли) был сформулирован вскоре после того, как государь своей властью, которая, следовательно, была превыше священной, вот только что несколько раз возвысил Никона – до архимандрита Новоспасского монастыря, до Новгородского митрополита, до чина и сана патриарха. Казалось бы, принятый на работу на определённую должность человек не должен по прошествии нескольких лет ногой открывать дверь в кабинет начальства и требовать чуть ли не поклонения. Тут что-то не вяжется, не складывается, очень уж противоречит вообще всем представлениям об устройстве жизни. Сообразовать такие метаморфозы в отношениях Никона с государем – с естественным, умопостигаемым поведением нормального человека можно только если как-то уместить никоновские взгляды в какие-то рамки: священство превыше царства, но всё же царь не должен прислуживать патриарху,

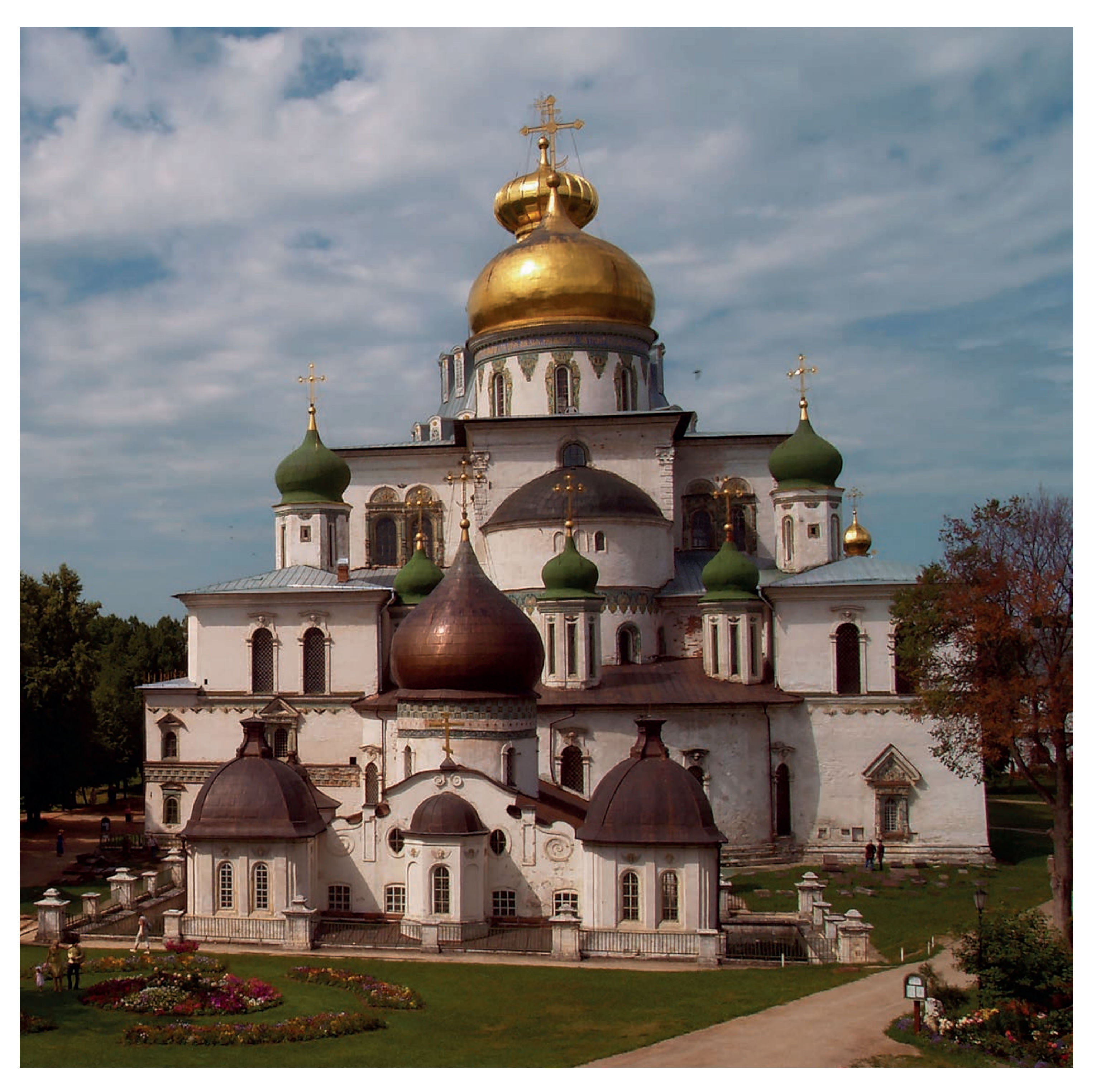
чистить сапоги и подавать полотенце после еды. Священству должен быть выделен коридор, какая-то сфера ведения, область компетентности, в которых оно обладает относительной самостоятельностью вплоть до полной свободы принятия решений. Во время Шествия на осляти в Вербное воскресенье царь держит стремя у патриарха – и ничего, никто не стесняется понять, что государь символически служит патриарху и физически находится ниже его: один в седле (хоть и обеими ногами в одну сторону), другой на земле. Тут-то он выше, и никто не возражает.

Сколько ни печалуйся, как ни увещевай государя, в чужую голову не влезешь, потёмки руками не разведёшь, свет в нужную сторону не направишь: царская рубаха ближе всего к царскому телу. Возможность влиять на его решения есть, но всегда при помощи ухищрений, которые сами искривляют замысел, каким бы прямым, правильным и добродетельным он ни был. Остаётся только подвинуть его плечом, как патриарх Филарет подвинул собственного сына Михаила (до поры, до времени), как умудрённый Никон лепил мысли царственного юноши Алексея (тоже 16 годков от роду примерился к скипетру и державе), как в 1676 году патриарх Иоаким венчал на царство 15-летнего Фёдора Алексеевича.

Удовольствие быть царём – видимо, немалое, даже и в столь юном возрасте, после 1613 года из четырёх государей (при одной регентше) ни один при вступлении на престол не перевалил за 18-летний рубеж, и всё же никто не отказался, не оттолкнул протянутую руку с шапкой Мономаха. Но вот откуда все они – и цари, и их светские и духовные наставники – знали, что на троне делать? С употреблением неги справиться нетрудно – почаще и побольше, и можно без хлеба, – но откуда взять представление об отправлении государственных обязанностей? Тут вариантов немного: надо хорошо делать то, что плохо делали в старину, но опять примешивается маленький гнусный вопрос: «Как?». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что во все времена действует одно и то же правило, доброе управление (=честный менеджмент) должно опираться на всю толщу культурного запаса страны. Христианизация, вестернизация и кизилбашизация (от Персии) увеличили этот культурный запас на несколько тысяч лет, а модели институтов доброго правления вообще отличаются от земли к земле только стадиально и лингвистически: от вождя с дружиной к отраслевым и территориальным ведомствам в меняющихся соотношениях. Удобство коллегиальной безответственности всегда ведёт к тирании, которая сменяется новой попыткой устроить безответственность более разумно, опираясь на только что добытые новые знания о мире и людях. Если эта простая мысль оказалась доступна нам, почему она не должна была посетить головы царей и сановников в прошлом, тем более принимая во внимание, что эти же задачи решали и задолго до Рождества Христова, и даже те, кто про Рождество ничего не знал и тысячу лет спустя. Патриарх Никон так высоко чтил митрополита Филиппа, потому что имел причины догадываться о его мотивационной, побудительной части душевного устройства, и череду митрополитов он легко мог продлить и до Макария, Алексия, Петра, и далее вспять до греков, принесших кафедру в Киев. Новшество, которое лелеял Никон – не направлять государеву руку, а действовать своей собственной, пусть в той же модели, которая ему вместе со страной досталась, с приказами, князьями, боярами и дворянами над крестьянами. И в этом он не был первым. Сложный узел взаимосвязанных реформ и идей тянулся от Филиппа и Иова, от Бориса Годунова и Филарета, который и исправление книг начал, и начал расширять Патриаршую область.

Вот об этом надо поподробнее.

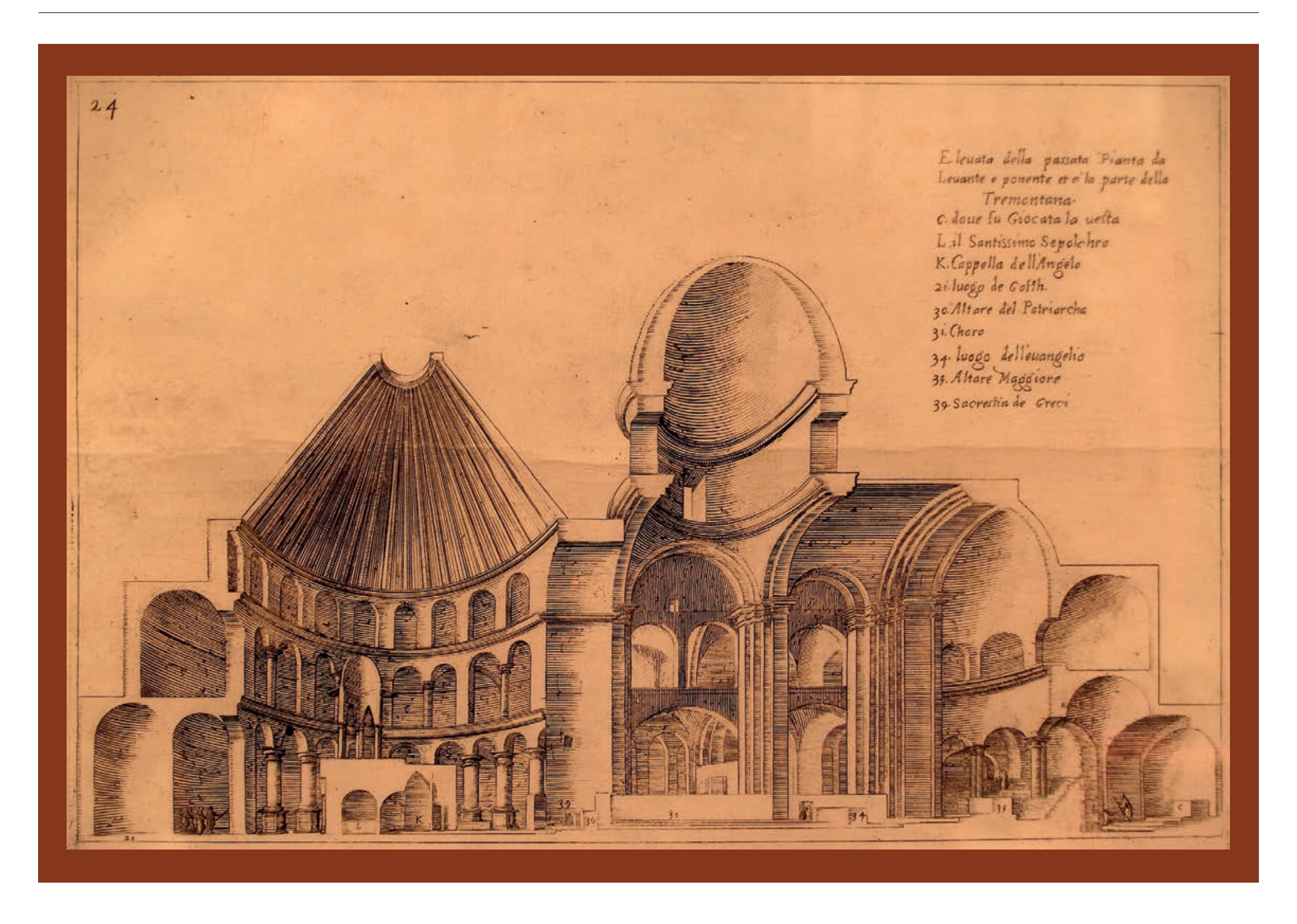
Случай натолкнул на брошюру профессора П.Ф. Николаевского о Патриаршей области и русских епархиях в XVII веке (СПб., 1888). Кроме него, Патриаршая область упоминается в считанных печатных материалах, смысл которых сводится к характе-



ристике её как «государства в государстве», достигшего наибольшей силы при Никоне, далее последовательно уменьшаясь вплоть до екатерининских изъятий церковных и монастырских богатств, сопоставимых с коммунистическим грабежом.

Между тем Патриаршая область как тема для исследования могла бы стать тем плугом, который перепахал бы заросшее сорняками и берёзами заброшенное поле истории отношений между светской и несветской властями в XVII веке. Твёрдо установлено, что первый патриарший период длился около ста лет и оставил по себе раскол и зияющую дыру на месте горы книг по истории Большого собора, материалы которого даже не изданы. Про проект реформ Фёдора Алексеевича (1681–1682) больше всего сведений тоже в книжке П.Ф. Николаевского в связи с уменьшением Патриаршей области при Иоакиме.

Но самое, конечно, удивительное – соединение сведений из брошюры П.Ф. Николаевского с обликом Архиерейского двора в Ростове. Общий объём строительных работ в епархии (митрополии) при Ионе Сысоевиче чудовищен, количество таланта,



употреблённого на возведение церквей и жилых сооружений, в тоннах и пудах посчитать невозможно, но ведь всё это изобилие стоит денег, и огромных. Ключик к этому замку – в руках у П.Ф. Николаевского. Материал его столь важен, что придётся его привести подробнее.

В 1640/41 г. (то есть уже после Филарета, при Иоасафе I) доходы Патриаршей области составляли более 4 тысяч рублей (И. Устинова), их хватило бы на 100–200 каменных домов (если бы все средства пошли на строительство, может быть, чуть больше или чуть меньше, от 50 до 300 в зависимости от размаха). За 40 лет до этого Фёдор Конь в Смоленске истратил на стену такое количество кирпичей, из которого можно было бы во всей стране построить сотни каменных домов. При Никоне в Патриаршую область входило больше 4000 церквей, с которых поступала церковная дань и неокладные доходы, по всей стране всех остальных, не-патриарших церквей, было примерно столько же, причём с некоторых доходы тоже шли в патриаршую казну. Исчислить количественно ценность всех поступлений вряд ли возможно, но не особенно-то и требуется, поскольку самое время вспомнить, что 1) собранное принадлежит не патриарху, а церкви, и 2) никто с собой за много тысяч лет ещё не унёс ни копейки, не считая, конечно, оболов за щекой для Харона. Оценивать надо не количественно, а качественно – то, что осталось от Никона в Иверском, Воскресенском, Кийском монастырях и в кремле, от Ионы Сысоевича в Ростове, Угличе и Ярославле.

Эти сооружения и суть результат преобразовательных попыток Никона и Ионы, как Днепрогэс, космос и атомные электростанции суть результат преобразовательных попыток В.И. Ульянова и последовавших за ним, согласных с ним или презиравших его и ненавидевших, но работавших для земли и для себя, как получалось.



А староверы – это предшественники белой эмиграции и вообще белого движения – не смогли стерпеть новоутвердившуюся власть, всё равно, какую, хоть светскую, хоть духовную – ведь светская просто перехватила у духовной манеру поведения, сделав ещё шаг к тоталитаризации власти, когда государство вместе с церковью становится неодолимой силой, так или иначе организующей жизнь всех и вся. В крайних точках этого развития – наисвободнейшее первобытное независимое хозяйство и быт, с минимальной ролью государства при начале пути, и единое господство деньговласти, делающее разговоры о свободе и воле смешными уже в миттельшпиле. Пружина такого движения – неустанное желание разумно устроить жизнь на фоне полного презрения к тем, кто живёт в этой разумно организованной жизни, правильнее даже сказать – кто осуществляет жизнь в рамках правильного устройства в координатах, установленных авторами разумных институтов общества и государства. Недаром староверы системой самоограничений добивались и добиваются соответствия между мечтательным воображением и пониманием собственных сил и возможностей. Дикари, использующие нечистые жидкости для умывания в соломенной хижине, могут быть не менее счастливы, чем потребитель утончённых spa-процедур после партии в гольф на фоне самой изысканной архитектуры, потому что и у тех, и у других есть соответствие между желаемым и достигаемым, только у последних нет начальных самоограничений и нет предела мечтаниям, потому что они не знают, что ограничения вообще бывают. Культура начинается там, где появляются запреты, и каждое снятие запрета влечёт за собой сорванную крышку со следующего ящика следующей Пандоры. Технологический и всякий иной прогресс, снимающий очередной запрет, должен быть уравновешен модификацией старого



запрета для воспроизводства культуры. С аквалангом можно нырнуть на сто метров вглубь, но за это приходится платить декомпрессией под угрозой закипания азота и смерти, то есть новым запретом. Никон снял запрет на умственное конструирование жизни (начал Иосиф Волоцкий) и показал пример, как это делать с успехом (особенно Иона Сысоевич); светская власть, начиная прямо с Алексея Михайловича, выдрала из рук патриарха знамя и увеличила роль государства, Пётр Алексеевич расставил все точки над i, сделав духовное ведомство министерством. Больше государства – меньше воли. Приписываемая Петру заслуга в области поощрения просвещения и образования – золотая шоколадная медаль без шоколада, пустышка: он производил военных и инженеров, а они никак не влияют на качество менеджмента, определяемое только и исключительно гуманитарной составляющей образования и просвещения. Раньше эта гуманитарная составляющая была под рукой у церкви и она (церковь) плохо или хорошо, но справлялась. Став министерством, она научилась слушаться и исполнять приказы, но за качеством выращиваемых человеков следить стало недосуг, да и несподручно, глубокая мысль не помещается в остром уме, потому что ценится не мысль, а ум. Для староверов никоновская ловкость в области обустройства Патриаршей области была предательством, примитивизацией высо-



кого назначения пастыря, опрощением до уровня приказного стряпчего или подьячего, обделывающего выгодное дельце, и в этом староверы, пожалуй, были правы, опрощение состоялось и было принято на вооружение всей церковью на Большом соборе уже без Никона. Но неприятность состояла в том, что гуманитарная составляющая оказалась совсем без присмотра. «Латыняне-схизматики» и «люторы» спасовали перед скорыми умом просветителями в Англии и Франции сначала, потом и по всей Европе, мало-помалу и в России новая опасность с неожиданной стороны стала угрожать церковным делателям гуманитарного дела: уже не католический «крыж» посягал на восьмиконечный крест, а оба они пятились перед наукой и просвещением, не в силах ни противостоять, ни бороться на равных. За триста лет состоявшаяся победа Просвещения в схватке не была зафиксирована и встречена рёвом толпы только потому, что за поставленной точкой открывалась бездна: а что вместо? «Если Бога нет, то его следовало бы придумать, потому что иначе всё дозволено»? Иными словами, запретов нет? Периодические временные ренессансы церковного мировидения только оттеняют полуживое (или полумёртвое) состояние гуманитарной науки, которой предстоит, впитав в себя старые религиозные запреты (то есть культуру), явить миру новые, модифицированные, отвечающие новым тех-

Святейшаго Никона Патриарха Московскаго и всеа России» парсуна (до 1666 {?}). На Большом соборе ему – 61.



Крестная икона. Неизвестный автор. Никон с несколько условными чертами лица – моложе того, что на парсуне



нологическим достижениям системы запретов и доказательств их необходимости и достаточности. Ясно, что воспроизводство культуры не будет содержать ничего такого, что не было бы известно Моисею, Иоанну Крестителю, Христу, Августину, Никону и даже Ленину. Скорее всего, ничего вообще нового гуманитарии не придумают. Но если с их помощью хотя бы сохранится то, что было всем названным и неназванным известно, их дело не пропало.



Крестная икона. Фрагмент. Никону почти 55 лет, он Патриарх и Кийский крест уже привезён из Иерусалима



В правой руке Димитрия – нож с отломанным острием, которым нельза заколоться, можно только перерезать горло



С такими мыслями, вполне возможно, приступал в середине 40-х годов к своему сказочному карьерному взлёту Никон, хотя никто, конечно, их не подслушал и не подсмотрел его записи в тетрадке. Может, и не с такими, а с какими-то ‘наоборот’. Свой Димитрий есть у многих, уж у правителей – почти у всех. И у Никона двое детей легли в землю, и он в этом виноват. Тем, что не уберёг. Не убил, но не уберёг. Борис своего горя не вынес, а Никон деятельным покаянием меньший грех покрыл. И для чего Никону на Крестной иконе Аствацатура (Богдана) Султанова уже после Большого собора понадобился в левой руке красный платок? Или это не платок? А что?

В музее Нового Иерусалима хранится икона с изображением двух икон, дважды связывающая два века, шестнадцатый и семнадцатый, оба раза не без таинственности, мистики и фантазий на заданную тему. Яков Бухвостов в конце XVII века увидел в правом верхнем углу иконы чертёж колокольни – и построил такую же на



востоке Воскресенского монастыря. Никон услышал мольбу на этой иконе, и понял, как в бесконечном горе обрести бесконечную силу. Причем не очень важно, что подтолкнуло мольбу – проклятие Борису или прощение Бориса: обе иконы благословляют сделать следующий шаг, от Владимира и святых митрополитов до сего дня даже страшные деяния ужасных правителей не убивают страну, если есть кому за-

ботиться о ней и дальше. Кто может, кто это понимает – тот и заботится, и крестьянин из деревни в 50 верстах от Макариевского Желтоводского монастыря на Волге, стремительно пробежавший путь до Великого государя, сравнявшись с царём, и так и не даровав ему в конце концов, уже из ссылки, благословения – тоже.

Икона – про то ли «Несение икон» (как она называлась раньше в музее Нового Иерусалима), то ли «Сретенье Владимирской и Смоленской икон Божией Матери», как её называют сейчас. Она, как и другие иконы, останавливает взгляд тем, что старается сообщить зрителю какую-то важную мысль. Может быть, далёким предкам это сообщение было внятно сразу и на бегу, а по прошествии многих (примерно четырёх) веков это сообщение надо выковыривать из-под слоёв окаменевшего незнания того, что в те незапамятные времена казалось доступным всем, от мала до велика. Не-знание, то есть пустота, отсутствие – сгустилось и отвердело до полной непрозрачности и шершавой неприятности наощупь. Поэтому приходится подкрадываться по чуть-чуть, сознавая безграничность собственного невежества и стараясь избежать хотя бы грубых глупостей.

Сюжет как будто несложный: из ворот кремля, сложенного, по всей видимости, из красного кирпича, выходит крестный ход с двумя иконами. Живописец скорее всего бывал в кремле давно и недолго, рисовал «по памяти»: Успенский собор, хоть и пятиглавый, но закомар в нём с востока ровно три, а не четыре, апсиды, вероятно, скрыты кремлевской стеной, просторный выход из собора на востоке полезен по ходу повествования, сразу видно, что из собора вышла огромная толпа, которая теснится в воротах, но он невозможен на самом деле, двери прямо в апсидах выучились делать только большевики для заезда грузовиков. Колокольня тоже выглядит не как Иван Великий, напоминает скорее бухвостовскую надвратную церковь, появившуюся в Новом Иерусалиме век спустя; но автору важно было намекнуть, что колокольня тоже тут есть, какая именно – пусть все сами вспоминают.

В левой части иконы очень выразительны горы: их тёмные вершины не спят во тьме ночной, они (как лики у Феофана Грека в Новгороде) диагонально прорисованы точками и тире белил так энергично, с такой страстью, что образовались буря и волны, сильная непогода, там, в горах, разыгрался прямо-таки шторм, один сплошной непокой, угрозы и неравновесие. Причина крестного хода нешуточная: за головой шествия несут хоругвь или знамя с Голгофским крестом и орудиями страстей, да и шествие происходит после Пасхи – священнослужители одеты в белые фелони. Обе иконы вынесены для того, чтобы они помогли в мольбе, в молении о чём-то, присутствующие просят их о содействии в каком-то деле, которое нам как зрителям неясно – чего хотят-то? Святой архиерей, не меньше епископского, а то и митрополичьего сана (судя по великому омофору с двумя крестами, не Пётр ли?), вместе со святым князем (в котором позволительно угадать Владимира), а за ними и толпа в воротах, обращаются с просьбой. Какой?

Единственное, чего нет на иконе – это пасхального празника, радости от вести о Воскресении, потому что нет надежд на воскресение того, кто изображен ростом в два с половиной раза ниже остальных. Он уже повыше колена и ещё пониже пояса, лет на восемь. Уж не убиенный ли царевич, хоть бы и не признанный наследником церковью, потому что от седьмой (примерно) жены? Оттого и ликования нет?

Прежде чем предположить, какие слова угадываются в мольбе, сосчитаем, сколько священнослужителей. Заметны четверо, явлены лицами, пятый (ростом пониже) лица не показывает, он загорожен иконой Одигитрии. Распознать его можно по окаймлениям фелоней. У крайнего слева – красная кайма, тот, у которого лицо виднеется между иконами, носит фелонь с чёрной каймой, как и тот, что прислонился правой щекой к доске с Одигитрией.



Кому принадлежит рука под локтём Одигитрии, причём рука, поднимающая лицевой край фелони с опять красной каймой? Там, во втором ряду – ещё один священнослужитель, для чего-то туда припрятанный. Дальше начинаются намёки, явленные, но не явственные.

Здесь, под двумя изображениями икон, чуть пониже, сгусток всей композиции, смысл моления. То, что восьмилетка держит в правой руке, – не свеча, как кажется на первый взгляд, а кованная длинная полоса плоского металла, скрученная в спираль, на верхнем конце её что-то похожее на пламя (то ли свечи, то ли фитиля, вряд ли лучины, светец обычно горизонтален, чтобы располагаться над водой). Ещё на конце спирали на фоне белой фелони с чёрной каймой нарисована не очень приметная небольшая ёмкость, склянка, баночка, которую можно сослепу принять даже за кусочек бумаги, чтобы прикрыть кисть от капель горячего воска. Но бумагу на такую мелочь тогда не тратили, да и чертёж склянки очень точен – ортогональная, кажется, проекция, взгляд сбоку сверху на круглое. Теперь обратим внимание на жесты рук. Не считая тех двух, что держат (а не поддерживают) иконы, все ладони открыты, пальцы в той или иной степени параллельны земле, руки в жесте, испрашивающем милости. Только два кулака держат что-то, сжимают. Царевич держит свой светильник в правой руке, и архиерей держит что-то невидимое, держит отчётливо, крепко, сжимая. Это «что-то» движется, его движение обозначено тремя тёмными линиями волн, тянущимися в сторону лампады Димитрия. Жест, вполне соответствующий каждению, правый локоть прижат к телу, работает в основном кисть. Кадило как-то маловато по размеру, но кто же знает, какими они тогда, в конце XVI века, бывали, может быть, как раз такими, миниатюрными. Велик соблазн сказать, что рука пятого священнослужителя в фелони с красной каймой понадобилась для того, чтобы как-то, непонятно, как именно, подлить масла в лампаду Димитрия, но всё-таки это каждение самим митрополитом, а лампада Димитрия после символических проводов царевича будет укреплена где-то в вертикальном положении и уже тогда в неё будут подливать лампадное масло. На иконе – Крестный ход после поминальной службы.

Толкование дальше требует обширных знаний и бо̀льшей проницательности. Трудно даже сказать, это дацзыбао против Бориса Годунова, или наоборот, призыв к примирению (канонизация Димитрия – 1606 год, при Василии Шуйском, поэтому на иконе у него ещё нет нимба). Может быть, икона написана ещё при жизни Годунова (то есть до 1605 года), в течение тех 14 лет, когда помощь Божией Матери была так нужна ему. «Элеуса» и «Указующая путь» вместе могли свидетельствовать о покаянии и намерении показать следующий шаг в противостоянии напастям, надвигающимся с запада большими ледяными ветрами. Неугасимая лампада Димитрия может быть и знаком победы в предстоящих военных делах (прерогатива Дмитрия Солунского), и вечной памяти о злодеянии, не имеющем прощения в веках. Тогда в молитве изображённых участников крестного хода можно услышать мольбу к обеим иконам Божией Матери о даровании Борису прощения. «Умиление» – самая «слёзная», самая размягчающая сердца, а «Путепрокладчица» зовёт к деятельности, не всё же только горевать и стонать. Тогда эта икона – уже не инвектива Борису, а напутствие, позволение сделать следующий шаг. Ему самому не довелось.

Патриархам досталось продолжение, по Ионе видно, какое.
В XVIII веке, склонив выю перед Петром, приходили в себя.
В XIX веке, ближе к концу, чуть было не распрямились.
Большевики почти век пробовали разогнуться, как умели.

Очередь за нынешним гуманитарным знанием:

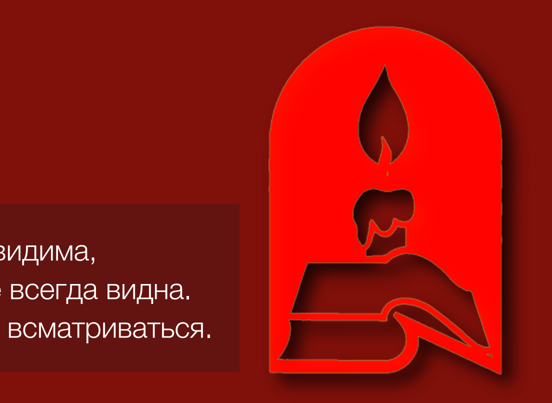
Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

КрайВидИс_Офо.qxp_495 23.10.2024 17:12 Страница 1






Она видима,
но не всегда видна.
Надо всматриваться.



ВИДИМАЯ ИСТОРИЯ

КРАЙ ВИДИМОЙ ИСТОРИИ

УСТНЫЙ РАССКАЗ